

В. Д. ДЕНИСОВ

ШЕТЕРБУРГСКИЙ

ТЕКСТ

ГОЛОС



Владимир Денисов
Петербургский текст Гоголя

«Нестор-История»

2018

Денисов В. Д.

Петербургский текст Гоголя / В. Д. Денисов — «Нестор-История», 2018

ISBN 978-5-4469-1517-0

Монография известного российского литературоведа посвящена петербургскому периоду в творчестве великого писателя, когда тот создавал циклы «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Арабески», «Миргород», комедию «Ревизор»... Автор видит истоки «петербургского текста» во взглядах молодого провинциала через увеличительное стекло столицы на историю родной Малороссии — древнейшей, «материнской» части русской земли, чье прошлое легло в основание славянской Империи. Вот почему картины и проблемы прошедшего Гоголь в своих произведениях соединил с изображением и насущными проблемами столичного «сегодня», сочетавшего старое и новое, европейское и азиатское, «высокие» науки, искусство и культуру с «низовыми» народными взглядами и лубком, вертепом, просторечием; красоту, роскошь дворцов и убожество окраин, величие государства — с мирками «маленьких людей»... Эти явные антитезы требовали осмысления и объяснения от литературы того времени. Именно они позднее определили замысел и воплощение гоголевской поэмы «Мертвые души».

ISBN 978-5-4469-1517-0

© Денисов В. Д., 2018
© Нестор-История, 2018

Содержание

Введение	5
Глава I. Российское и малороссийское в произведениях Гоголя 1830–1834 годов	9
§ 1. Замысел поэтической истории народа	9
§ 2. Восприятие истории мира юношей Гоголем	12
§ 3. Историческое и мифологическое в первой повести о козачестве	14
§ 4. Гоголь в работе над «Историей Малороссии». Обзор историко-литературных трудов о козачестве	28
§ 5. Гоголевский «Взгляд на составление Малороссии»	36
Глава II. Малороссийский исторический роман: замысел, возможное целое и фрагменты	42
§ 1. «Глава из исторического романа»	43
§ 2. Вторая «глава» романа	49
§ 3. Историческая повесть: особенности конфликта, Герой «от Бога» и другие типы героев	56
§ 4. Этапы работы автора над историческим романом	66
Глава III. Православные «льщари» Сечи (особенности 1-й редакции повести «Тарас Бульба»)	69
§ 1. «Герои своего времени»	70
§ 2. Изображение Запорожской Сечи у Гоголя и в русской литературе его времени	85
Конец ознакомительного фрагмента.	87

В. Д. Денисов

Петербургский текст Гоголя

Введение

Художественный мир Гоголя поражает нас удивительной типичностью героев, их особым «слиянием» с историческим и бытовым фоном, явно обусловившими «живучесть» этих образов в читательском сознании. Еще В. В. Розанов заметил: «... черта, проведенная Гоголем, остается неподвижной: она не увеличивается, не уменьшается, но как выдавилась однажды – так и остается навсегда», – хотя критик и считал, что герои Гоголя «произошли каким-то особым способом, ничего общего не имеющим с естественным рождением»¹. По-видимому, писатель основывался на некоей универсальной модели отношений человека и мира, характерной для русского романтизма в тот период, когда под воздействием «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина, европейского исторического романа (в основном, конечно, – романов В. Скотта), трудов европейских историков и философов² формировался историзм новой русской литературы и определенный тип художника-историка. Даже язык исторических штудий тогда приближался к слогу высокой литературы, и многие авторы-повествователи хотели стать историками, подобно Карамзину, или хотя бы таковыми считаться. При этом исторические занятия А. С. Пушкина, М. Н. Загоскина, Н. А. Полевого, А. Ф. Вельтмана и других писателей были преимущественно направлены на постижение закономерностей национального и общечеловеческого развития. Подразумевалось и дальнейшее практическое применение этих знаний: в «контексте времени» художественное произведение все больше воспринималось как объективное, почти научное исследование действительности – будь то исторический роман, трагедия или поэма.

Актуализация исторической тематики предполагала незыблемость основ национального характера и национальной жизни, сформировавшихся под воздействием физических (природных, в основном географических), а также исторических (соседство других народов, войны, нашествия и проч.), экономических (земледелие, производство, торговля) и других факторов и духоносного (религиозного, культурного) идеала общества. Романтическая концепция, по словам Гоголя, была обусловлена «идеей об одном великом целом, об одной единице, к которой должны быть приведены и в которую должны слиться все времена и народы»³, – как бы «назад, к Адаму!» По этой идее, в своем развитии все человечество, каждый народ и его культура проходят путь от детства через юность и зрелость к старости – подобно отдельному человеку / организму и всей природе, которая живет по своим естественным (*органическим*) циклам: смене времени суток, времен года и т. п. Духовное же развитие каждого человека, особенно творчество художника, по-своему отражает этапы жизни его народа и всего человечества, будучи своеобразно с ними соотносено, и потому чаще всего опережает возрастной (*органический*) цикл развития, но может и парадоксально расходиться с ним⁴.

¹ Цит. по: *Розанов В. В.* Мысли о литературе. М., 1989. С. 161–163.

² В своих исторических статьях, лекциях и заметках Гоголь чаще всего упоминал труды И.-Г. Гердера, Э. Гиббона, И. Миллера (Мюллера), Ф. Шлегеля, А.-Л. Шлецера.

³ *Гоголь Н. В.* Шлецер, Миллер и Гердер // *Н. В. Гоголь.* Полн. собр. соч.: Т. I–XIV. М.; Л., 1937–1952. Т. VIII. С. 85. Далее везде цит. по этому изд., указывая в круглых скобках через запятую том – *римской* цифрой, страницу – *арабской*; в квадратных скобках дана ссылка на комментарий. В цитатах подчеркнута мной. – В. Д. Используемые в работе исторические, лингвистические, этнографические сведения взяты из различных печатных и электронных справочно-энциклопедических изданий, в том числе – «Три века Санкт-Петербурга» (СПб., 2003–2011).

⁴ О «возрастной» теории см.: *Гулыга А. В.* Гердер и его «Идеи к философии истории человечества» // *Гердер И. Г.* Идеи к философии истории человечества. М., 1977. С. 629–637. О связи теории со славянским самосознанием см.: *Карпенко Г. Ю.*

Романтическая идея универсальной взаимосвязи всего сущего, человека и окружающего, очевидно восходит к христианской легенде о сотворении мира и человека, когда земное, материальное, «телесное» начало было одухотворено возвышенным, небесным. Поэтому для романтиков проявления познающего мир человеческого духа: фольклор, искусство и науки – Божественны как феномены животворящего Мирового Духа, возникновение и развитие которых обусловлено извечным противоречивым единством земного хаоса (телесного, неодухотворенного, вещного, косного) и небесного космоса (Божественного, духовного, гармоничного). И субъект познания – в качестве такового может выступать не только художник, ученый, но и целый народ, – *анализируя и моделируя* (и таким образом одухотворяя) мир, становится демидургом, противостоит разрушению и в этом отчасти уподобляется самому Создателю. Следовательно, художник-историк обязан воссоздать обстоятельства, в которых действует типичный герой, в какой-то мере представляющий весь народ, его происхождение и окружение, его путь, и при этом учитывать «возрастные» интенции общества на данной ступени развития, по возможности *живо* изображая их (например, М. П. Погодин в «Исторических афоризмах и вопросах» писал о Художнике-Историке, Историке-Поэте, в чьем творчестве народ узнает себя⁵). Подобное обожествление художника так или иначе приводило к сакрализации образа Автора. Однако при этом художнику-создателю и/или Автору мог быть противопоставлен своеобразный демонический «двойник», некий Фауст, который только анализировал мир, «разнимая» на части, дабы понять и, в конечном счете, опровергнуть его Божественную гармонию: «И ничего во всей природе / Благословить он не хотел» (А. С. Пушкин «Демон», 1824).

Согласно «возрастной» теории, молодость, даже юность России определена и ее особым, «евроазиатским» пространственным размахом, и Православием как истинной, природной «греческой верой» (в противоположность католицизму), и самим историческим путем, прерванным татаро-монгольским нашествием, которое погрузило Россию во тьму и на века отдалило от европейской культуры – ныне уже «старой», исчерпывающей возможности развития. Украина как «полуденная Россия» с этой точки зрения парадоксально воспринималась и старше, и моложе. Она – даже территориально – прямая наследница Древней Руси и потому старше своей великой сестры. Это «колыбель Россов, потому что предки оных сарматы, скифы и славяне поселились там прежде и построили первые города»; там «в 33 или 34 году по Р. Х. Св. апостол Андрей Первозванный проповедовал им Христианскую веру»⁶. Но после распада «материнского» государства эти земли оказались под властью Литвы, затем вместе с ней были фактически аннексированы Речью Посполитой и лишь после долгих мытарств волею народа были возвращены в состав России. Все это время Украина имела лишь начала государственности, а потому и сохранила некие исконно «младенческие» черты Киевской Руси, славянского мировосприятия, единства с природой, признанные и оцененные даже в Европе. Тем самым Украина для России то же, что Аркадия для Греции или Авзония для Италии⁷, ее «райские уголки» – Эдем (общее место просветительских, а позднее и романтических сочинений о «полуденном крае»). И потому – с точки зрения Российской империи – никакой своей «отдельной» истории Малороссия не имела и не могла иметь. Во «Введении» к 1-й редакции официальной «Истории Малой России, от присоединения ее к Российскому государству до отмены

Историософский потенциал русского слова // Литература и философия: Сб. науч. ст. СПб., 2000. С. 3–8.

⁵ Московский Вестник. 1827. Ч. 1. С. 113; Ч. 4. С. 306–307. Здесь и далее везде в нашей работе мы приводим цитаты из произведений XVIII–XIX вв. в соответствии с нормами современной русской орфографии, но в отдельных наименованиях сохраняем особенности правописания, характерные для той эпохи.

⁶ По Нестору, хотя в этом «новейшие писатели сомневаются» (примеч. автора. – В. Д.).

⁷ Аркадия – в античных мифах счастливая страна, идиллический край хлеборобов и скотоводов Греции, где человек находился в изначальном единстве с природой, не зная бед и смерти; Авзонией в древнеримской поэзии называли идеализированную Италию.

гетманства...» (1822) Д. Н. Бантыш-Каменский объяснял, каким образом религиозно-освободительная борьба привела украинцев к воссоединению с Россией⁸.

В начале – середине 1820-х гг. (возможно, как отклик на этот труд) получила распространение рукописная «История Русов, или Малой России», приписывавшаяся архиепископу Георгию Конисскому, которая именовала украинцев «русским народом» и повествовала о его бедствиях, мужественной длительной борьбе с польско-католической экспансией и неисчислимым жертвах⁹.

Особое внимание к истории Малороссии тогда же привлекло возмущившее Россию требование польской шляхты вернуть принадлежавшие ей ранее украинские земли, охотно подхваченное французскими газетами. Кровавое Польское восстание 1830–1831 гг. донельзя обострило застарелые вопросы русско-украинско-польских отношений. Чтобы ответить на них, художник-историк (согласно романтической концепции, именно он представляет свой народ – как «истинный сын своей страны» В. Скотт, создавший поэтическую историю Шотландии) должен был показать роль каждой стороны в конфликте. Украинскую сторону представляло Козачество, во главе с Богданом Хмельницким освободившее страну от польского владычества, а значит вопрос о том, кто такие *козаки*¹⁰, откуда они взялись и каково их значение, становится центральным для художественно-исторических сочинений такого рода, сочетавших синхроническое и диахроническое. При этом нужно было соблюсти главную из философско-исторических установок романтизма о **всеохватном диалоге культур** как разнообразных исторических проявлений Мирового Духа: в Античности, Средневековье и Новом времени, в устном творчестве народа и его письменной литературе, во **взаимодействии культур** разных народов, стран и регионов (Севера, Запада и Востока).

Местом взаимодействия культур был и Санкт-Петербург, соединявший старорусское и новорусское, европейское и азиатское, «высокие» науки, искусство и культуру с «низкими» народными представлениями, фольклором, лубком, лаптями и просторечием, в историко-философском плане – прошлое, настоящее и будущее, жизнь и смерть, природу и человека, богатство и нищету, красоту, роскошь дворцов, ужасающую разруху окраин, величие петровского государства и мирки выживающих в нем «маленьких людей»... Смесь этих синтетических, антитетических, антиномических величин требовала осмысления, обобщения и отражения в литературе того времени¹¹. Поэтому изначально «петербургский текст» Гоголя представлял собой отклик на столичную жизнь, отражая видение автором родного края как

⁸ *Бантыш-Каменский Д. Н.* История Малой России, от присоединения ее к Российскому государству до отмены гетманства, с общим введением, приложением материалов и портретами: В 4 т. М., 1822; *Он же.* История Малой России. С 19 портретами, 5 рисунками, 26 раскрашенными изображениями малороссиян и малороссиянок в старинных одеждах, планом Берестского сражения, снимками подписей разных гетманов и предводителей козаков и с картой, представляющей Малороссию под владением польским в начале XVII в. 2 изд., перераб. и доп. М., 1830. Ч. 1–3; далее цит. по этому изд., указывая в круглых скобках: *ИМР*, номер части и страницы. Мы разделяем оценку *ИМР*, данную в работе: *Казарин В. П.* Повесть Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»: Вопросы творческой истории. Киев; Одесса, 1986. С. 21. Сам Д. Н. Бантыш-Каменский (1778–1850) служил правителем канцелярии у генерал-губернатора Малороссии кн. Н. Г. Репнина и писал *ИМР* по его личному поручению.

⁹ Цит. по: *Конисский Г. (?)* История русов, или Малой России // Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете. М., 1846. № 1–4. Отд. 2; далее указываем в круглых скобках после цитаты: *ИР* и № стр. О появлении *ИР*, ее тенденциях и значении, а также проблеме ее авторства см.: *Казарин В. П.* Повесть Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». С. 22–23; *Звяжковский В. Я.* Историческое ядро «Миргорода» в свете художественно-мифологических установок XVIII – первой трети XIX вв. и документированной истории Украины // Н. В. Гоголь: Мат-лы и исследования. Вып. 2. М., 2008. С. 345–350. Примечательно, что весной 1829 г., под воздействием *ИР* и растущего интереса к Украине, у Пушкина возник замысел **исторического труда** о Малороссии (см. об этом: *Оксман Ю.* Неосуществленный замысел истории Украины // Лит. наследство. Т. 58. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1952. С. 211–214).

¹⁰ Здесь и далее везде в нашей работе слово *козак* и производные от него (обозначавшие, с точки зрения Гоголя, особую национально-историческую общность) сохранили написание рукописных редакций, которое в первопечатном тексте почти везде подверглось последовательной цензурной замене на *казак* и подобные, подразумевавшей общее происхождение украинских и российских воинов-казаков. Бытовавшие в конце XVIII – первой трети XIX в. взгляды на происхождение малороссийских *козаков* приведены ниже, в § 4 Гл. I.

¹¹ См. об этом: *Топоров В. Н.* Петербургский текст русской литературы: Избр. труды. СПб., 2003.

древнейшей, «исходной (материнской)» русской земли, чье прошлое так или иначе обуславливает бытие и государства, и его центра. Но почти сразу картины и проблемы жизни ушедшей стали перекликаться с изображением и проблемами столичного «сегодня». Таким образом, в «петербургский текст» входит и все написанное Гоголем в столице, и задуманная здесь поэма «Мертвые души» – как начало его объяснения современности. В более точном смысле таким «текстом» следует считать гоголевскую прозу, изданную с 1830 по 1835 г. в Санкт-Петербурге. Об этом – наше исследование.



Александринский театр

Глава I. Российское и малороссийское в произведениях Гоголя 1830–1834 годов

§ 1. Замысел поэтической истории народа

В письме матери из столицы 30 апреля 1829 г. Гоголь сообщал: «Здесь так занимает всех всё малороссийское...» (X, 142). Показателем такого интереса служит заметно увеличившееся в том году количество «украинских» публикаций. Среди них по важности и читательскому вниманию следует считать, несомненно, первой и главной поэму А. С. Пушкина «Полтава». Малороссийские повести «Терешко» и «Козацкие шапки» И. Г. Кулжинского напечатал «Дамский журнал» (№ 24, 32, 34–35), альманах «Подснежник» – «Русалку. Малороссийское предание» Порфирия Байского <О. М. Сомова>; в альманахе «Северные Цветы на 1830 год» (СПб., 1829) появились «Малороссийская песня» И. П. Котляревского и «Малороссийская мелодия» А. А. Дельвига, в журнале «Московский Телеграф» (№ 11–12, 23) – стихотворения Н. Маркевича, затем составившие книгу «Украинские мелодии», а журнал «Сын Отечества и Северный Архив» в № 41 поместил «Сказание о Хмельницком» выпускника Нежинской гимназии В. И. Любича-Романовича. В подобной «экспансии» украинской тематики определенную роль тогда, по-видимому, сыграло и 60-летие первого классика украинской литературы И. П. Котляревского (1769–1838).



На Невском проспекте

Именно с 1829 г. Гоголь начинает активно пополнять собранный исторический материал этнографическими сведениями. Можно полагать, этого требовала «идея времени» о **поэтической истории народа**, которая бы объяснила черты современного национального характера. В том же году она отчасти была реализована: Николай Полевой начал издавать многотомную «Историю русского народа», вышел роман М. Н. Загоскина «Юрий Милославский, или Рус-

ские в 1612 году»¹², а чуткий к запросам публики Ф. В. Булгарин дописывал свой исторический роман «Димитрий Самозванец» и уже в ноябре открыл на него подписку (причем авторы, независимо друг от друга, показали в своих романах и запорожских козаков тоже).

Чуть раньше попытку изобразить в поэтическом и этнографическом плане жизнь украинского селянина предпринял преподаватель латинского языка Нежинской гимназии высших наук И. Г. Кулжинский (1803–1884), в чьей книге «каждая малороссийская деревня» представлялась идиллическо-буколическим «сокращенным Эдемом»¹³. В то же время вышел и сборник украинских песен¹⁴, изданных ботаником, фольклористом, поэтом-историком М. А. Максимовичем (1804–1873), где – совсем по Гердеру – песни представляли воплощение духа украинского народа и его развития, а потому являли собой и непреходящую эстетическую, и самостоятельную историческую ценность. Пройдет еще несколько лет – и уроженец Черниговщины, поэт и этнограф Николай Маркевич (1804–1860) в предисловии к сборнику «Украинские мелодии» напишет о том, что создание поэтической истории страны становится **насушной потребностью**:

«...*Полуботок, Войнаровский, Палий, Мазена*¹⁵ не менее достойны воспоминаний поэта.

Если станет на то сил моих и времени, быть может, я решусь принести моим соотечественникам и земле, кормившей некогда наших праотцов, а ныне хранящей остатки их, – подробное описание красот исторических, прелестей природы, обычаев, обрядов, одежд, древнего правления Малороссийского. Приятно было бы вспомнить, каков был Батурич, Чигирин или Глухов¹⁶ во времена предков наших, каковы были нравы, язык; приятно представить себе отечество в дни его протекшие <...> Для истинных любителей Русского слова не менее приятно было бы узнать наречие Малороссийское, как от одного корня истекающее, тем более что в нем находятся слова, для русских теперь уже хотя и не понятные, но некогда и им как нам принадлежавшие»¹⁷.

Еще позднее, выпуская в 1834 г. новый сборник украинских народных песен, М. А. Максимович определит их значение так: «Это надгробные памятники и вместе живые свидетели отжитой старины. Другие народы в память важных происшествий своих чеканят медали, по которым История часто разгадывает минувшее; события козацкой жизни отливались в звонкие песни, и потому они должны составить самую верную и вразумительную летопись для нового бытописателя Малороссии», – и этим «новым историком Малороссии» был провозглашен «*Н. В. Гоголь...* автор Вечеров на хуторе близ Диканьки»¹⁸.

Он заслужил это звание за несколько лет своей жизни в Петербурге именно потому, что не был самоуверенным «недоучкой» (легенда об этом живет до сих пор). Гоголь видел про-

¹² История русского народа. Соч. Николая Полевого. М., 1829–1833. Т. 1–6; не завершена; Юрий Милославский, или Русские в 1612 году. Соч. М. Н. Загоскина. М., 1829. Ч. 1–3.

¹³ Малороссийская деревня, соч. И. Кулжинского. М., 1827. Об авторе и его влиянии на Гоголя см.: *Супрушок О. К.* Литературная среда раннего Гоголя. Киев, 2009. С. 40–44.

¹⁴ Малороссийские песни, изданные Михаилом Максимовичем. М., 1827 (далее – Малороссийские песни, изд. М. Максимовичем).

¹⁵ Сочетание этих фамилий восходило к названиям украинских поэтов Рылеева, видевшего в противостоянии Петру I борьбу против деспотизма и воспевавшего козацкую вольность в своих произведениях 1823–1825 годов (см.: *Рылеев К. Ф.* Полн. собр. стихотворений. 2-е изд. Л., 1971. (Библиотека поэта). С. 433–442; далее – Рылеев, 1971).

¹⁶ Город *Батурич* со второй половины XVII в. был резиденцией гетманов Левобережной Украины; после измены Мазепы в 1708 г. город, по приказу Петра I, был разрушен, жители разогнаны, а резиденция перенесена в г. *Глухов*, где и находилась 1-я, а затем 2-я *Малороссийская коллегия* – до 1764 г., когда автономия Левобережья была ликвидирована. Город *Чигирин* – вотчина Богдана Хмельницкого, место его рождения и, вероятно, смерти, его резиденция в 1648–1657 гг., затем разрушенная турецкими войсками и татарами.

¹⁷ Украинские мелодии. Соч. Ник. Маркевича. М., 1831. С. XXVII–XXVIII; курсив автора.

¹⁸ Украинские народные песни, изданные Михаилом Максимовичем. М., 1834. Часть первая. Кн. I–II. С. IV–V; все изменения шрифта – авторские (далее: Украинские народные песни, изд. М. Максимовичем).

белы в своем образовании и откровенно сообщал о них матери еще из гимназии¹⁹, а его интеллектуальный багаж отнюдь не ограничивался «Книгой всякой всячины». Он имел достаточный опыт театральных, литературных, «художественных» занятий, предполагавших обширные познания, работу с источниками, определенную систематизацию, без чего не может обойтись серьезный ученый или писатель. Да, Гоголь сначала не располагал многообразными сведениями ни для лекций, ни для статей, но, став преподавателем Патриотического института, собеседником Пушкина, Жуковского, П. А. Плетнева, соавтором В. Ф. Одоевского, лихорадочно работал над пополнением своих знаний, видимо, полагаясь на универсальный теоретический фундамент, некую романтическую схему-идею, с помощью которой можно было бы построить здания всеобщей, средневековой и малороссийской Истории. Дело было за малым – оформлением этой государственно-исторической «идеи»...

¹⁹ *Мани Ю. В.* «Сквозь видный миру смех...»: Жизнь Н. В. Гоголя. 1809–1835 гг. М., 1994. С. 189 (далее: *Мани Ю. В.* «Сквозь видный миру смех...»).

§ 2. Восприятие истории мира юношей Гоголем

Историческая составляющая раннего творчества Гоголя очевидна. Его первоначальный интерес к истории питали сведения из Священного Писания, в основном сообщенные матерью и домашним учителем-семинаристом, рассказы о 1812 годе, о Полтавской битве, родо-вые козацкие предания и обрывки легенд Полтавщины, а затем книги из библиотеки Трошинского – дальнего родственника и покровителя Гоголей-Яновских, театр в его имении Кибинцы, козацкие легенды и соборы в Нежине... Более серьезные представления формируются в русле «нежинской школы»²⁰ под впечатлением событий 1825 г., когда внезапная смерть отца, а затем известия о восстании декабристов обратили внимание юноши на историю своей семьи. Очень важно, что само развитие взглядов на Историю, судя по письмам Гоголя-гимназиста, было связано с его самосознанием, освящено христианским Преданием, мыслями о Промысле Божьем, идеями Добра и служения людям, пониманием долга человека на Земле²¹. Видимо, тогда он представлял историю как Божественный театр – с героями и толпой, «актерами» и «зрителями-существователями». О подобном восприятии действительности и ее переосмыслении в отчетливо театральном, комедийно-сатирическом плане свидетельствуют письма к Г. И. Высоцкому 1827 г. (см.: X, 85–88, 99–101) и явно драматизированная сатира в пяти картинах «Нечто о Нежине, или Дуракам Закон не писан»²².

Формирование будущего писателя связано с исторической тематикой, начиная от ученических подражательных опытов (о них можно судить лишь по заглавию): поэма «Россия под игом татар», стихотворная трагедия «Разбойники» и славянская повесть «Братья Твердиславичи»²³. Поэтому заслуживает внимания догадка о работе Гоголя-гимназиста над романом или трагедией «из исторического прошлого»²⁴. Обусловить этот замысел могла историческая трагедия А. С. Пушкина «Борис Годунов», сцена из которой «Ночь. Келия в Чудовом монастыре» появилась в № 1 журнала «Московский Вестник» за 1827 г. (слухи о содержании трагедии опередили ее публикацию в конце 1830 г., восторженно принятую Гоголем). Именно с 1827 г. начинается заполняться «Книга всякой всячины, или подручная Энциклопедия», в письмах того времени к матери проскальзывают намеки о «начале великого предначертанного мною здания» (X, 117 и др.). Оригинальные и переводные исторические трагедии в то время считались вершинами романтизма, вызывая множество подражаний, и были для юного театрала куда ближе романов, вероятно, и потому, что – в силу своей условности – не требовали особых исторических познаний, житейского и психологического опыта, тех конкретных подробностей и связей, без знания которых или без их учета нельзя создать роман. На драматический жанр указывают и первоначальные записи в «Книге всякой всячины», в большинстве своем посвященные лексикону, одежде, нравам и малороссиян, и русских – особенно XVII в. – как возможных персонажей Смутного времени (этнографические сведения собственно о малороссиянах

²⁰ Об этом см.: *Михед П. В.* О нежинской литературной школе // Наследие Н. В. Гоголя и современность: Тезисы докл. и сообщ. Гоголевской конф. Нежин, 1988. Ч. 1. С. 11–12.

²¹ См.: *Жаркевич Н. М.* Нежинский период жизни Н. В. Гоголя и становление его исторических взглядов и интересов (к постановке проблемы) // Наследие Н. В. Гоголя и современность. Ч. 1. С. 7–8; *Она же.* Н. В. Гоголь и И. С. Орлай (к вопросу о становлении исторических взглядов и интересов Н. В. Гоголя) // Творчество Н. В. Гоголя и современность: Тезисы докл. и сообщ. Гоголевской конф. Нежин, 1989. С. 9–10; *Якубина Ю. В.* Роль Нежинской гимназии высших наук в формировании религиозных взглядов Н. В. Гоголя // IV Гоголевские чтения: Сб. науч. статей. Полтава, 1997. С. 1 18120; *Неизданный Гоголь* / изд. подготовил И. А. Виноградов. М., 2001. С. 4–5.

²² Ср.: *Мани Ю. В.* «Сквозь видный миру смех...» С. 115. О театральном-сатирическом плане восприятия современности Гоголем в начале 1830-х гг. см. ниже, на с. 160.

²³ Там же. С. 109–110.

²⁴ *Михальский Е. Н.* Н. В. Гоголь и эстетическое сознание первой трети XIX в. // Наследие Н. В. Гоголя и современность. Ч. 1. С. 9.

понадобятся Гоголю лишь в Петербурге). Причем трагедия (в стихах!) родственна по жанру драматической идиллии в картинах, и потому М. И. Гоголь, не посвященная сыном в подробности (или просто за давностью лет), вспоминала о «двух трагедиях», с которыми Никоша отправился в Петербург. Это находит подтверждение в письме от 9 января 1830 г. помещика В. Я. Ломиковского, который, явно опираясь на действительные высказывания М. И. Гоголь – своей соседки по имению, язвительно писал о некоторых прожектах ее сына: «...он, быв выпущен из Нежинского училища, нигде не захотел служить, как в одном из министерств, и отправился в столицу с великими намерениями и вообще с общепользными мероприятиями; во-первых, сообщить матушке не менее 60000 рублей, кои он имеет получить за свои трагедии; во-вторых, исходатайствовать Малороссии увольнение от всех податей»²⁵.

Подобное движение от гипотетической исторической драмы к известной исторической прозе Гоголя соответствует общему направлению европейской и русской литературы той эпохи²⁶. Недостаток же достоверных сведений позволяет лишь предположить, что сначала были попытки показать историю «вживе» в различных по жанру произведениях – вероятно, и основанных на семейной хронике (об этом см. ниже, на с. 59). Обращение к прошлому для понимания настоящего, использование «уроков истории» дает начало всей исторической прозе Гоголя и будет вдохновлять его последующие творческие поиски с 1827 по 1830 г.

И тогда на первый план выходит работа над идиллией «Ганц Кюхельгартен»²⁷ – поэтической историей европейского героя-одиночки. Юный мечтатель («мировая душа»), чтобы увидеть Мир и творения Искусства, лично причаститься европейской Истории, уходил из деревенского дома и странствовал на чужбине (возможно, в своих мечтах), но обретал покой, уют, уверенность в себе и – вероятно – семью, лишь воротившись в родной Дом. Здесь обращение к истории, к античности как началу европейской культуры, не отчуждает героя от настоящего – наоборот, после этого он принимает действительность, довольствуется судьбой и перестает ее испытывать, ибо осознает культурную преемственность, обусловленность настоящего прошлым, сопричастность своего дома Граду и Миру.

«История Ганца» соединяет русскую и немецкую (европейскую) культуру: жанром идиллии, мотивами как немецкой, так и русской поэзии (в основном – стихов Пушкина, его романа «Евгений Онегин»), а также темой поддержки в Европе и России дела освобождения христианской Греции от турецкого ига. И финал идиллии обозначает движение в раннем творчестве Гоголя от *интернациональной* «истории героя-одиночки» (индивидуалиста, который познает мир и развивает свою духовную сферу вне государства, «через» общечеловеческую историю, искусство, культуру, и так постепенно обретает вечные, простые, главные для каждого ценности) – к «семейственной истории» как части поэтической истории *народа*, отражающей его искусство и культуру – с типичными национально-государственными особенностями: этнографическими, фольклорно-литературными. Такое развитие «европейского» сюжета в идиллии явно связано с его авторским переосмыслением: ведь познание мира приводит героя к одиночеству, а затем возвращает в Дом, в семью, – и автор как бы провидит этот возможный поворот в собственной судьбе²⁸.

²⁵ Цит. по: Мани Ю. В. «Сквозь видный миру смех...» С. 201.

²⁶ Об этом см.: Петрушина Н. Н. Проза Пушкина (пути эволюции). Л., 1987. С. 49.

²⁷ См.: Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений и писем (ПССиП): В 23 т. М., 2001. Т. 1. С. 571–586.

²⁸ Изучение вопроса об авторстве идиллии показывает, что определенное участие в ее создании и обработке принимал одноклассник Гоголя, будущий редактор его сочинений Н. Я. Прокопович (1810–1857). Чуть позже он опубликовал стихотворения, мотивы которых созвучны некоторым главам «Ганца Кюхельгартена» (Мои мечты // Лит. прибавления к «Русскому Инвалиду». 1831. № 43; Полночь // Северные Цветы на 1832 год. СПб., 1831). Там есть и прямые переключки с идиллией, отсутствующие в последующем гоголевском творчестве. Все это дает основание утверждать, что в Собрании сочинений Н. В. Гоголя идиллию следует относить к произведениям, написанным совместно с другими авторами.

§ 3. Историческое и мифологическое в первой повести о козачестве

Переход от «истории героя-одиночки» к «семейной истории» как части **поэтической истории народа**, по-видимому, и определил особенности малороссийской повести «Вечер накануне Ивана Купала»²⁹, которую Гоголь анонимно опубликовал в 1830 г. и затем перепечатал со значительной правкой в первой книжке «Вечеров». Согласно заглавию, это рассказ про «старинное чудное дело», отнесенный к неопределенно далекому прошлому (хотя вряд ли по украинскому селу после 1630-х гг. в одиночку мог разгуливать «лях»). Но представленную автором картину прошлого трудно назвать героической: «...тогда козак ковал почти всякой и набирал в чужих землях немало добра <...> Бывало то, что и свои наедут кучами и обдирают своих же», – подобно «крымцам, ляхам, литвинству», причем инициатива набегов обычно принадлежит козакам «поразгульнее других», а беззащитность перед набегам вынуждает всех ютиться в «ямах» землянок или в убогих хатах (I, 139, 149). Здесь утрачивают свой смысл понятия козацкой «вольности» и «братства». Если проще отнять, чем жить своим трудом, плоды которого тоже могут забрать или уничтожить в любое время, то «вольность» – это отсутствие любой другой власти, кроме первобытного права сильного. И незачем поровну, справедливо, по-братски делить добычу – лучше взять себе все, спрятать или прогулять.

Видно, в этот период «братство», «вольность», защита веры (без чего нельзя представить «молодецкие дела Подковы, Полтора Кожуха и Сагайдачного») начинают уступать отношениям корыстной нехристианской несвободы, даже в делах, казалось бы, сугубо личных. И можно заставить на себя работать за кусок хлеба круглого сироту, даже родственника, выгодно женить сына или выдать замуж дочь (ср.: Солоха и Чуб) и вообще «устроить» их жизнь, не спрашивая на то их согласия, пресмыкаться перед богатой родней и презирать бедную... ибо жизнь народа теперь все больше определяет не «история семьи», а «история одиночек», потерявших веру и потому разобщенных, подвластных «дьявольским» корысти, насилию, индивидуализму. Так, Корж готов отдать свою красавицу дочь хоть за «ляха», если тот богат, а Пётр Безродный, чтобы создать семью, – пойти «в Крым и Туречину, завоевать золота» (I, 143), то есть стать козаком, за деньги лишая жизни других или отдать свою, даже решиться на сделку с дьяволом, продав ему душу. В народной поэзии был достаточно распространен мотив человека без роду и племени (как, например, в думе о смерти козака Федора Безродного³⁰), продавшегося черту, чтобы обрести род, – и в данном контексте этот мотив отчетливо связан с козаками.

Круглый сирота Пётр, «выкормленный» хозяевами вместе с дочерью, работавший на них, а затем изгнанный за любовь к ней из дому, выведен в пьесе И. П. Котляревского «Наталка Полтавка» (1819, опубликована 1838), уже считавшейся классикой украинской литературы и хорошо известной Гоголю (по детским впечатлениям в Полтаве и/или по театру Д. П. Трошинского в Кишинцах). Там же другой юный сирота – Микола, не зная, как жить дальше, хочет пойти «на

²⁹ Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала. *Малороссийская повесть* (из народного предания), рассказанная дьячком *Покровской церкви* // Отечественные Записки. 1830. Ч. 41. № 1 18. Февраль. С. 238–264; № 1 19. Март. С. 421–442. Согласно версии, принятой в гоголеведении, издатель журнала, автор очерков и обзоров П. П. Свинын (1788–1839) внес правку, которая искажила замысел повести, и Гоголь достаточно резко указал на это в предисловии к ее новой редакции в «Вечерах» (см. об этом: *Мани Ю. В.* «Сквозь видный миру смех...» С. 233–234). Но нельзя забывать, что Свинын – пусть в интересах своего журнала! – направлял первые шаги молодого автора, видимо, ввел того в круг художников и литераторов (будучи сам коротко знаком со многими – например, с поэтом И. И. Дмитриевым и журналистом О. М. Сомовым, затем оказавшими влияние на гоголевское творчество). Его собирательство, исторические и этнографические разработки Гоголь поддерживал и, вероятно, вынужден был мириться с тем, как использовался материал.

³⁰ Смерть Федора Безродного // *Н. А. Цертелев.* Опыт собрания старинных малороссийских песен. СПб., 1819. С. 48–50. Некий «демонический» аспект вносило и упоминание о том, что отец такого героя якобы живет «на Запорожьи» (I, 140; о причинах этого см. ниже, на с. 36–37).

Тамань» и пристать «до черноморцев», то бишь к козакам «Черноморского войска»: ведь «они если не пьют, то людей бьют, а все не гуляют», – и он мечтает с ними «тетерю (тюрю. – В. Д.) есть, горилку пить, люльку курить и черкес бить»³¹. То есть представления о козаках включают молодечество, гульбу и жестокую, полную опасностей, но сытную военную жизнь на воле. И ни слова о награде, добыче, деньгах! Далее все заработанные деньги Пётр предложит в приданое Наталке, лишь бы она была счастлива, а Возный, увидев их взаимные чувства, откажется от своих намерений, и в финале восторжествуют дружба, любовь, справедливость. Здесь нет демонического в отношениях, они легко гармонизируются, видимо, под влиянием природы (село стоит, как и Полтава, на берегу Ворскла, но в городе герои были несчастны). Гоголь же показывает, что и близость к земле в глухом селе на Полтавщине не ограждает от зла, корысти, несправедливости, влияния дьявольских сил, как не спасает отступников от Божьего суда. Об этом свидетельствует «история Петра», начало которой перекликается с «пружиной» драматического конфликта и характеристикой персонажей в «Наталке Полтавке»³². Таковы сиротство Петра и героини, скупость и/или разорение родителя(-ей), желание выдать дочь за богатого, но нелюбимого, тогда как изгнанный за любовь герой вынужден искать средства для будущей семьи, и проч. Заметим, что герои повести в основном сохранили характеры своих прототипов (например, Корж скарден, жесток, ограничен и самонадеян, как Терпило – отец Наталки, влюбленные самоотверженны, трудолюбивы и... наивны, у героя есть черты Петра и Миколы, героиня же превосходит его по характеру, как и Наталка Петра, и т. д.). Однако на все эти черты и ситуации ложится некий дьявольский отблеск, которого нет в пьесе.

В 1-й редакции гоголевской повести демонические черты были явными не только у Петра. Там сообщалось о явной трусости козаков и о том, как они апатичны в церкви, безучастны к Слову Божию и пастырь «мог видеть только широкие их пасти (пастырского стада? – В. Д.), которые они со всем усердием показывали в продолжение его речей»³³, – хотя не исключено, что эти пассажи ввел Свиньин, редактируя гоголевский текст. Но и каноническая редакция, где автор снял упомянутые инвективы, показывает, как вместо церкви козаки охотно посещают шинок и за деньги ищут веселья либо забвенья на «покупном пиру», где и старшины сидят «по чинам» (ср. в «Тарасе Бульбе» козацкий пир, который не знает корысти и чинов). Это гиблое место, ибо, в представлении народа, пьянство и гульба от бесовства³⁴, и потому уже покинутый разваливающийся шинок «нечистое племя... поправляло на свой счет...» (I, 152). В шинке и при шинкарке Петра успешно искушает Басаврюк – по словам рассказчика, «дьявол в человеческом образе», «бесовский человек» (I, 139–140; в 1-й редакции он имел говорящее прозвище *Бисаврюк*).

Если считать приметам «настоящего козака» разгул, бражничание, умение выпить за раз «кухоль сивухи», то «вольный» образ жизни Басаврюка почти не отличался от типично козацкого («Гуляет, пьянствует и вдруг пропадет, как в воду... Там, глядь – снова будто с неба упал... Понаберет встречных козаков: хохот, песни, деньги сыплются, водка как вода...»), но, в отличие от остальных, Басаврюк и «на Светлое Воскресение не бывал в церкви...» (I,

³¹ Котляревский И. П. Твори. Киев, 1980. С. 229–230.

³² Одной из причин актуализации для Гоголя пьес «Наталка Полтавка» и «Москаль-чаровник» И. П. Котляревского мог быть 60-летний юбилей автора в 1829 г. (и 10-летний – пьес). Их мотивы видны в повестях 1-й части «Вечеров», кроме «Пропавшей грамоты» (например, появление в селе вдовы с дочерью и сватовство Головы в «Майской ночи»).

³³ Вайскопф М. Сюжет Гоголя: Морфология. Идеология. Контекст. М., 1993. С. 61.

³⁴ Булашев Г. О. Украинский народ в своих легендах и религиозных воззрениях и верованиях. Вып. 1. Космогонические украинские народные воззрения и верования. Киев, 1909. С. 342–346. – Ср. в «Сорочинской ярмарке»: загулявший чёрт сидит в шинке «с утра до вечера» и даже закладывает свитку. – Средневековые поучения клеймили «неправедное житье» (подобное «содомскому греху») и тех, кто «держит корчму», и тех, кто «ест и пьет безудержно, до обжорства и опьянения, праздников и поста не блюдя, всегда пребывает в разгуле», и тех, кто «колдовством занимается и волхвует». – Домострой / изд. подготов. В. В. Колесов, В. В. Рождественская. СПб., 1994. (Лит. памятники). С. 167. В этом свете предстает нехристианским поведение и самого Басаврюка, и посещавших шинок козаков, и тетки рассказчика, этот шинок содержавшей.

139–140). В то же время, как было сказано выше, согласно 1-й редакции, многие из тех, кто в церковь ходил, демонстрируют там безразличие к вере и потому не могут считаться истинными христианами. А Пидорка и Пётр уже вполне готовы, скорее, расстаться с жизнью, пойти на самоубийство (то есть отречься от Бога), чем остаться без любимого³⁵; причем в дальнейшем, чтобы вылечить мужа, Пидорка пойдет к знахарям и колдунье, пренебрегая церковью Св. Пантелеймонацелителя³⁶.

С Петра Безродного начинается в произведениях Гоголя ряд героев-сирот, который завершают Чичиков и князь из повести «Рим». Не касаясь здесь метафизических аспектов «неполноты семьи/мира» и «одио́чества героя в мире/миру»³⁷, отметим, что для Гоголя это мотив личный, поскольку юность его прошла без попечения и наставлений отца. В истории Украины сиротство было широко распространено по вполне реальным причинам: «козацкая вольность» и «рыцарское братство», пренебрежение удобствами и самой смертью в походах, разгульная жизнь ослабляли семейные узы и множили сирот. В свою очередь, отсутствие родовых и бытовых корней легко делали сироту «перекаати-подем» – равнодушным, подвластным искушению маргинальным героем, как показано в «истории Хо́мы Брута»³⁸.

Но в первой повести Гоголя акценты расставлены несколько иначе. Сиротство заставляет Петра работать за кусок хлеба, довольствуясь тем, что дают, отсутствие самого необходимого порождает и поддерживает мечту о богатстве, а любовь Пидорки разрушает отчуждение, заменяя родительскую любовь и заботу, которой он не знал. И потому личный союз с Пидоркой дороже любого «братства»³⁹, да и всего на свете, ибо без нее для Петра уже нет жизни! Так возникает парадоксальная *пограничная ситуация*, когда во имя любви и будущей семьи, освященной Богом, герой «на все готов!» – нарушить заповеди, совершить преступление или самоубийство, отказавшись от Бога. Это сближает Петра с будущими гоголевскими героями – Вакулой и Андрием. С другой стороны, как явствует из текста, уже нет и в помине прославленных бандуристами козацкого братства, дружбы, «вольности», ради которых герой мог бы отказаться от семьи, пренебречь ею...

Пограничную ситуацию – «пружину» исторических романов и всей романтической прозы – как правило, создает оппозиция или прямое столкновение «двух наций, культур, религий, жизненных укладов, быта и пр.»⁴⁰, идеального (духовного, небесного, Божественного) с материальным (косным, земным и, конечно, дьявольским) или обычного (жизненного, реального) с необычным (фантастическим, чудесным) и т. д. Отчасти мы уже характеризовали *пограничное*, говоря о козацких, татарских и сарматских набегах, показывающих относительность «границ собственности», о богатстве-нищете «земляных жителей» (среди них появляется и «лях, обшитый золотом»), о «братстве» и собственничестве, «воле» и несвободе, церкви и шинке, человеке-демонe Басаврюке и нехристианском в поступках других козаков. Кроме того,

³⁵ Схожим образом тот же трагический мотив был представлен в безусловно известной Гоголю повести В. Т. Нарезного «Бурсак» (1824): дочь гетмана Евгения тайно пишет своему жениху, что отец хочет отдать ее в жены литовскому князю Станиславу, и если Леонид не придет на помощь, то ее «уже не будет. ...не к брачному ложу, но с растерзанною девическою грудью» она явится «к престолу Судьи небесного. Да будет... святая воля Его!» (*Нарезный В. Бурсак*, малороссийская повесть. М., 1824. Ч. 4. С. 6970). В «Наталке Полтавке» (1819) любящие друг друга герои тоже заявляют о готовности, скорее, умереть, чем жить без любимого (*Котляревский И. П.* Твори. С. 239, 244).

³⁶ *Воропаев В. А., Виоградов И. А.* Комментарии // *Н. В. Гоголь. Собр. соч.: в 9 т. / сост. и коммент. В. А. Воропаева, И. А. Виоградова.* М., 1994. Т. 1/2. С. 434. Далее везде: *Воропаев В. А., Виоградов И. А.* Комментарии.

³⁷ Метафизический аспект сиротства в «Вечерах» рассматривается в книге: *Гончаров С. А.* Творчество Гоголя в религиозно-мистическом контексте. СПб., 1997. С. 38–43.

³⁸ Об этом см., например: *Виоградов Игорь.* Повесть Н. В. Гоголя «Вий»: К истории замысла и его интерпретации // *Гоголеведческие штудии.* Вып. 5. Нежин, 2000. С. 87–91.

³⁹ Ср. в повести «Тарас Бульба» (1835): «...в тогдашний век было стыдно и бесчестно думать козаку о женщине и любви, не отведав битвы» (II, 292).

⁴⁰ *Альтшуллер М. Г.* Эпоха Вальтера Скотта в России. Исторический роман 1830-х годов. СПб., 1996. С. 16. Далее: *Альтшуллер М. Г.* Эпоха Вальтера Скотта в России.

вдовец Корж, сирота Параска и – особенно – круглый сирота Пётр имели в обществе отчетливый пограничный статус.

Пограничен и сам пейзаж: поле – лес – болото – отдаленные от них степи характерны для северной границы со Слободской Украиной, тогда входившей в состав Русского государства (ср. украинские пейзажи «Миргорода»). Тот же пейзаж в остальных повестях «Вечеров», за исключением «Страшной мести», обозначает явную близость к России, *пограничье* (в этом можно увидеть переключку с теми произведениями В. Скотта, где действие происходит на «пограничной полосе» земли между Англией и Шотландией). И место действия в ранних исторических фрагментах Гоголя тоже было противопоставлено украинской степи: лес – в «Главе из исторического романа», городок на «дне провала» и монастырское подземелье – в «Кровавом бандуристе». Но степь как бы сопутствовала героям, находилась достаточно близко, на «втором плане» пейзажа. Вероятно, из степи привозят таинственного пленника. Шляхтич попадает в лес «после долгого степного странствия» (III, 311). В рукописи исторической повести (о ней пойдет речь в следующей главе) герой и его возлюбленная упоминают степь как символ козацкой вольности, хотя среди холмов Приднепровья лишь однажды откроется простор «равнины» (III, 287).

* * *

Мифологическое в повести начинается с ее заглавия: «Вечер накануне Ивана Купала», ибо вечер – граница дня и ночи – это «сумеречное», *пограничное* состояние между светом и тьмой, жизнью и смертью, правдой и ложью⁴¹ (ср. подзаголовки повести в 1-й редакции: «*Малороссийская повесть* (из народного предания), *рассказанная дьячком...*» – и во 2-й редакции: «*Бьль, рассказанная дьячком...*»). Канун праздника тоже на грани обыденного⁴². А Иванов день совместил христианский праздник Рождества Иоанна Предтечи (24 июня ст. ст.) и славянский языческий праздник Ивана Купала. В «Книге всякой всячины» Гоголя записано: «*Купаловые песни* поют в Иванов день или в день Купала <...> У карпато-россов сей день празднуется не Купале, но Ладе...» (IX, 518). Наряду с этим существовало иное представление, вероятно, восходившее к периоду, когда в народном сознании христианский и языческий праздники еще не соединились. Так, в примечании к «Сказкам о кладах» уроженец Слободской Украины Сомов, вслед за *ИГР*, утверждал, что «*Купаловым днем* в Малороссии называется день св. Агриппины, накануне Иванова дня (23 июня). Летописцы говорят, что во времена язычества славянских народов в этот день приносились жертвы богу Купалу»⁴³.

⁴¹ См.: *Маш Ю. В.* Поэтика Гоголя. 2-е изд., доп. М., 1988. С. 56, 68.

⁴² Отчасти тем же Пасичник будет объяснять в «Предисловии» к «Вечерам» появление столь необычных историй: «Бывало, соберутся накануне праздничного дня добрые люди в гости, в пасичникову лачужку, усядутся за стол, – и тогда прошу только слушать» (I, 104).

⁴³ Невский альманах на 1830 год. СПб., 1829; цит. по: *Сомов О.* Сказки о кладах // Русские альманахи: Страницы прозы. М., 1989. С. 303. О писателе и журналисте О. М. Сомове см. ниже, на с. 53.



Праздник Ивана Купала

Гоголь, видимо, придерживался генеральной линии таких сочинений, подчеркивая общеславянскую языческую основу малороссийских обычаев и сближая их с обычаями русскими. Так, в примечании к 1-й редакции он приводил, немного изменив, сведения из сборника народных песен Максимовича⁴⁴: «В Малороссии существует поверье, что папоротник цветет только один раз в год, и именно в полночь перед Ивановым днем, огненным цветом. Успевший сорвать его – несмотря на все призраки, ему препятствующие в том, находит клад» (I, 356). То же позднее повторил Н. Маркевич⁴⁵. Однако при этом они одинаково не использовали украинское слово «папороть», которое Гоголь знал, поскольку внес в «Книгу всякой всячины» (IX, 518).

Согласно славянской языческой мифологии, «на Ивана Купалу... Перун... выступал на битву с демоном-иссушителем, останавливающим колесницу Солнца на небесной высоте, разбивал его облачные скалы, отверзал скрытые в них сокровища», и потому ночной «молниеносный цвет Перуна» (цветок папоротника), в частности «обнаруживает подземные клады – подобно тому, как удары молнии, разбивая облачные скалы, обретают за ними золото солнечных лучей. Кто владеет чудесным цветком, тот видит все, что кроется в недрах земли», а нечистые силы хотят захватить цветок, ибо его владелец «становится вещим человеком, знает прошедшее, настоящее и будущее, угадывает чужие мысли и понимает разговоры растений, птиц, гадов и зверей»⁴⁶, – но, по христианским понятиям, это знания и умения демонические, сатанинские, напоминающие всеведение Адама до грехопадения. С другой стороны, в народной культуре золото земли – это атрибут и **дьявола**, и подземного **царства мертвых**, потому

⁴⁴ Малороссийские песни, изд. М. Максимовичем. С. 219–220.

⁴⁵ Украинские мелодии. Соч. Ник. Маркевича. С. 154.

⁴⁶ Цит. по: *Афанасьев А. Н.* Древо жизни: Избр. статьи. М., 1982. С. 237–240. Приведем еще одно этнографическое примечание об остатках язычества, которое появилось почти одновременно с повестью Гоголя: «...накануне перед Ивановым днем, по мнению простолюдинов, просушиваются сокровища, в земле находящиеся» (Праздники, забавы, предрассудки и суеверные обряды простого народа в Новогрудском повете Литовско-Гродненской губернии. Соч. кандидата Мухлинского. С польск. Х. // Вестник Европы. 1830. Ч. 173. № 16. С. 272).

обычно клад не дается людям без жертвы, будь то кровь, жизнь или душа. К язычеству восходит и отчетливый план испытания-инициации главного героя.

У древних славян юношей «возраста мужества» отправляли в святилище (лагерь) вне территории племени или рода – обычно в лесу, где они как бы умирали для остальных. Главенство в святилище принадлежало жрецам и жрицам божеств **царства мертвых**. Яга, вероятнее всего, была жрицей языческой богини судьбы Мокоши, среди ее функций – определение судьбы человека и владычество над миром мертвых, поэтому она (или заменявшая ее ведьма) входила в круг лиц, проводивших посвящение. Его ритуалами были временная смерть, когда испытуемых поглощало чудовище, последующее «воскрешение» – освобождение из его чрева, как бы новое рождение⁴⁷, а затем, вероятно, употребление наркотических веществ, создававших у неопита иллюзию беседы с тотемным предком или духами предков. Затем он должен был участвовать с товарищами в походах, набегах, боевых действиях племени/рода (позднее их стали имитировать так называемые ритуальные бесчинства). Окончательное превращение юноши в мужчину-воина завершалось изменением внешности и/или имени (подробнее об этом см. ниже, на с. 89–90). Только после этого он мог владеть собственностью и вступить в брачные отношения⁴⁸.

Этот фон помогает увидеть, как Гоголь трансформирует в повести черты языческого посвящения, мотивирует его нехристианским насилием, кровопролитием ради богатства и уподобляет грехопадению. В 1-й редакции повести герой был вооружен словно *козак*: «кием» (здесь: аналог пики) и «татарскою кривою саблею», – его окружают «дикий бурьян» и «терновник» (I, 356), напоминающие о возмездии за *первородный грех* (после чего Адаму было определено, что отныне земля «произрастит» ему лишь «терние и волчцы». – Быт. 3:18). Когда Пётр добывает и отдает цветок для добычи клада колдуну (ведуну) и ведьме-знахарке, он как бы лишается чистоты, всеведения и веры Адама до грехопадения. Окончательное падение героя (буквальное – в яму-могилу, вырытую ради клада, – и как нарушение Заповедей) будет связано с убийством невинного ребенка – языческой, кровавой жертвой «подземному миру».

«Оживление» языческой символики происходит в открытой повествователю сфере сознания героя: ему застывший «на пне... как мертвец» Басаврюк напоминает «истукана», языческого идола; затем ему среди «пустой и немой» ночной природы чудится, «будто трава зашумела, цветы начали между собою разговаривать голоском тоненьким, будто серебряные колокольчики; деревья загремели сыпучею бранью...» (I, 144–145)⁴⁹, – и нищему «земляному жителю» открываются сокровища «подземной» жизни. Все это может быть истолковано и как приметы **царства мертвых**. А его властительница, сначала обнаружившая зооморфные черты оборотня-вампира (собаки и кошки), затем, по словам Басаврюка, – «красавицы» и «чертовки» (в 1-й редакции она была похожа на «супругу Сатаны»), становится старой ведьмой, Бабой-Ягой, которая, по существу, и определяет дальнейшую судьбу Ивася и Петра, их принадлежность царству мертвых.

Атрибут Яги – ее «избушка... на курьих ножках» (обычное место испытания героя восточнославянской волшебной сказки) в кусте терновника – здесь напоминает жилище западноевропейского гнома, демонического «духа земли», и тем самым вроде бы исчерпывает свою роль в сюжете. Зато сам атрибут и встреча с Ягой были чрезвычайно значимы в «Перелицованной Энеиде» Котляревского, где Бабой-Ягой («бабищей» и «цацей» в глазах рассказчика)

⁴⁷ Протт В. Я. Исторические корни волшебной сказки // В. Я. Протт. Собрание трудов. М., 1998. С. 149.

⁴⁸ Сведения приведены по статье: Балушок В. Т. Инициации древних славян (попытка реконструкции) // Этнографическое обозрение. 1993. № 4. С. 57–66.

⁴⁹ Ср. развитие мотива «инога, сказочного мира» в повести «Вий» (1835): во время ночного путешествия со старухой Хома Брут «видел, что трава, бывшая почти под ногами его, казалось, росла глубоко и далеко и что сверх ее находилась прозрачная, как горный ключ, вода, и трава казалась дном какого-то светлого, прозрачного до самой глубины моря <...> Он видел, как вместо месяца светило там какое-то солнце; он слышал, как голубые колокольчики, наклоня свои головки, звенели» (II, 186).

представала Кумская Сивилла, проводница в царство мертвых, с которой Эней не особенно церемонился, почти как Басаврюк⁵⁰. И поскольку герои поэмы изображены троянцами-запорожцами («Эней был парубок бедовый / И хлопец хоть куда казак...»⁵¹), такая переключка с «Энеидой» подтверждала в повести принадлежность героев к малороссийским козакам, «языческую» и символическую подоплеку действия, творческую ориентацию автора на классику украинской литературы и вводила некий иронический подтекст, понятный читателям поэмы И. П. Котляревского⁵².

Вернувшись с золотом из **царства мертвых**, герой впадает в «мертвый сон» на «два дни и две ночи» и, «очнувшись на третий день», в отличие от подразумеваемого воскрешения духовного, наоборот, оказывается лишен памяти (I, 146). После чего сфера его сознания постепенно «затемняется» для повествователя и читателя, ибо Пётр все более «одержим»: утратив свободу воли, он «как будто прикованный» сидит возле мешков с золотом (I, 149), его существование становится пограничным, полуживотным. Затем, ровно через год, память вернется и, как удар молнии («огненный цветок» здесь и Божья кара, и самое страшное наказание Перуна для язычников), уничтожит дьявольско-языческое наваждение вместе с жизнью отступника, оставив лишь пепел и пар – изначальный неодухотворенный хаос – тот «земной прах», из которого был создан Адам. Замолить семейные грехи Пидорка сможет, только уйдя от мира в освященное пространство православной Лавры, ценой молчания и здоровья (став монахиней, высохнет, «как скелет»: ее религиозный подвиг призван искупить «падение» и языческую одержимость Петра). А «земляным жителям» за их грехи так и «не было покою от проклятого Басаврюка», хотя «все побросали землянки свои и перебрались в село <...> даром, что отец Афанасий ходил по всему селу со святою водою и гонял черта кропилом по всем улицам...» (I, 151).

«История создания и разрушения семьи», основанная на традиционных фольклорных мотивах: любовь двух сирот, разлучение влюбленных (и/или смерть одного из них), продажа души за богатство (и/или за невесту, за родство), нечаянное преступление и Божья кара за отступничество, – в силу этого обретает характерный эпический охват *сказки*⁵³. А изображение всей жизни типичного героя: от рождения до свадьбы и смерти – и типичного в то время для его социума пути в козаки можно отнести к формальным приметам *романа*. Но если из окружающих «никто не помнил ни отца... ни матери» героя, ни обстоятельств его рождения (I, 140) – значит, вопреки постулату свободы воли, он оказывается изначально обречен на трагическое одиночество в мире, отчуждение от социума, искушение и «падение» в язычество. «Вторичное» отчуждение Петра (от жены) тоже происходит вопреки христианским установлениям («...оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, / Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». – Мф. 19:5–6). Таким образом, и фатальная «безродность» героя, и крушение не только его семейных, но и всех человеческих связей после церковного брака, и, наконец, его гибель обнажают иную, «темную» сторону народной жизни, дезавуируя идею романа как «христианской истории любви»⁵⁴.

⁵⁰ Котляревский И. П. Энеида // И. П. Котляревский. Сочинения. Л., 1986. (Б-ка поэта). С. 95.

⁵¹ Там же. С. 57.

⁵² О цитировании «Энеиды» Гоголем также см.: Тошчина А. В. «Энеида» Котляревского в художественном мире «Сорочинской ярмарки» Гоголя // Мат-лы XXXVI Междунар. филол. конф. Вып. 16. Славянские литературы и литературные взаимосвязи. <СПб.>, 2007. С. 39–45; Она же. Тема ада у Котляревского и Гоголя («Энеида» и «Вечера на хуторе близ Диканьки») // Юбилейная междунар. науч. конф., посвящ. 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя: Тезисы. М., 2009. С. 61–63.

⁵³ На рубеже 1820–1830-х гг. повесть нередко отождествляется со сказкой (см.: Русская повесть XIX века: История и проблематика жанра. Л., 1973. С. 9; Петрушина Н. Н. Проза второй половины 1820–1830-х гг. // История русской литературы: В 4 т. Л., 1981. Т. 2. С. 502–504). Обычно подчеркивалось, что такая повесть была «рассказанной», субъективной.

⁵⁴ В статье «О романе как представителе образа жизни новейших европейцев» В. Титов утверждал, что европейский (и

Обещанное *чудесное* представлено в повествовании как *демоническое, языческое*, проявления которого сугубо телесны, материальны, «животны», что показано их грубыми земными или «подземными» чертами *мертвого, дикого* или *безумного* – своего рода «терновником» и «бурьяном» бытия, напоминающими о хаосе. Таковы прозвище и сама «образина» Басаврюка: «волосы – щетина, очи – как у вола», он «загремел... брякнул... заревел»; «...весь синий, как мертвец <...> рот в половину разинут...» (I, 143–144). Пётр «одичал; оброс волосами; стал страшен...» (как «образина» Басаврюка); «Бешенство овладевает им; как полуумный, грызет и кусает себе руки и в досаде рвет клоками волоса <...> Вдруг весь задрожал, как на плахе; волосы поднялись горою» (I, 149). Возможность такой интерпретации здесь и в повести «Заколдованное место» обоснована языковыми схемами, какими, в частности, являются подчеркнутые нами устойчивые сравнения, и традиционными сюжетными схемами народного фольклора.

Позднее, уже в 1840-х гг., подобные «ходячие» славянские сюжеты (схемы) воспроизвел В. И. Даль, относя, например, к ним «целый ряд сказок и поверьев о цвете папоротника, который-де цветет ночью на Иванов день. Этот небывалый цвет (папоротник тайниковое, бесцветное растение) почитается ключом колдовства и волшебной силы, в особенности же для отыскания кладов: где только зацветет папоротник в полночь красным огнем, там лежит клад; а кто сорвет цвет папоротника, тот добыл ключ для подъема всякого клада, который без этого редко кому дается <...> клад бывает всегда почти заповедный и дается тому только, кто исполнит зарок; избавляет же от этой обязанности только цвет папоротника <...> папоротнику... повинуются все духи <...>. Во время выемки клада всегда приключаются разные страсти, и черти пугают и терзают искателя...»⁵⁵.

Столь же очевидно, как сама структура демонических образов в повести «Вечер накануне Ивана Купала» включала черты известных фольклорно-языческих, или европейских романтических, или античных героев, легко опознаваемые читателем. Однако разнородные характерные черты здесь не только «подсвечивали», но и отчасти «размывали» образы. И современные исследователи отмечают, например, что «образ Басаврюка... не имеет прямых аналогий в народной демонологии: его статус... не ясен, он то ли черт, обернувшийся человеком, то ли ходячий покойник, упырь; для народной традиции, где колдун, чёрт, упырь и т. д. обладают каждый своими отчетливо выраженными признаками, такая расплывчатость не характерна»⁵⁶.

Поэтому проявления и действия *нечистой силы* в повести изображены как *всеобщие*. К ним так или иначе причастны все – и живущие разбоем (набегами), и пьющие, и равнодушные к вере, и трусливые, и девушки, берущие подарки Басаврюка, и отцы, готовые отдать дочь за богатого, но ненавистного «ляха», и влюбленные, замышляющие самоубийство, и ряженные демонами на свадьбе... У «юного» (как главные герои) народа есть угроза старческого распада на отдельные, даже не семейные, а сугубо индивидуальные мирки, когда *земное* берет верх над *духовным*, человека охватывают безверие и корысть и он живет для себя, служа Богу и Мамоне, провоцируя явление «дьявола в человеческом образе» (I, 139). На этом фоне перспектива распада семьи должна быть воспринята как апокалиптическая. Причем ее обозначает служитель церкви, выражая родовую (народную) точку зрения⁵⁷.

русский тоже) роман обратился к «индивидуальному и семейственному существованию, связанному с развитием христианских идей» (Московский Вестник. 1828. Ч. 7. С. 171). То есть «мысль семейная» и «мысль народная» были взаимосвязаны задолго до известного высказывания Л. Н. Толстого.

⁵⁵ Цит. по: О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа. Соч. *Владимира Даля*. 2-е изд., без перемен. СПб.; М., 1880. Глава XV. Клады. С. 143–144.

⁵⁶ *Гоголь Н. В.* ПССиП. Т. 1. С. 717.

⁵⁷ Такая позиция рассказчика / издателя, подтверждавшая правдивость повествования, уже имела свои традиции в западноевропейской и русской литературе, например, в романах В. Скотта (об этом см.: Там же. С. 670–673).

Подобная «демоническая» характеристика малороссийских козаков из первой повести Гоголя как бы иллюстрировала обвинение их в нехристианском образе жизни: азиатских разбойных набегах («наездах»), язычестве, пьянстве и обжорстве, кровожадности, жестокости, коварстве и алчности. Эти инвективы отчасти можно объяснить *государственной* точкой зрения (так, обсуждение романа Загоскина в 1829–1830 гг. напомнило о набегах козацких шаек на Русь в Смутное время), отчасти – традициями украинского народного театра, особенно вертепа, где на образ *козака* повлиял его польский театральный вариант – плута-хвастуна-пьяницы-гуляки, «разносителя шинков»⁵⁸. А сама оценка подразумевала исторический прогресс и признание мира «сейчас» более совершенным, нежели в прошлом. Той же «гимназической» точке зрения, в отличие от Гоголя, остался верен его однокашник, поэт и драматург Н. В. Кукольник (1809–1868), который в середине XIX в. писал о прошлом Украины: «Тогда на просторе свободно и безнаказанно разыгрывалось казацкое молодечество. Свои не хуже татар грабили... уводили в плен красавиц; казак с верховий Буга с товарищами гостил на берегах чистого Псла, а у него в то же время в гостях пировали степные наездники по-своему. И теперь в Малороссии тяжба в моде, но только на бумаге, а тогда та же вечная тяжба, только на шабелях»⁵⁹. И все это было сказано после «Тараса Бульбы» и повести о двух Иванах...

В то же время в раннем творчестве Гоголя рядом с «Бисаврюком» есть красочные, полные комизма и юмора, местами идиллические картины *современности* («Две главы малороссийской повести “Страшный кабан”»⁶⁰). Их герой, великовозрастный семинарист Иван Осипович, «убоясь бездны премудрости» («Недоросль»), оставил учебу и стал домашним учителем у помещицы в украинском селе, где нашлось применение его житейским «талантам», вызвавшим любопытство, уважение и страх селян. Удивлялись они лишь его крепкой дружбе с пьяницей кухмистером, да и то недолго...

Этот образ, возможно, отразил детские впечатления Гоголя, который «получил первоначальное воспитание дома, от наемного семинариста»⁶¹. Реальным же прототипом семинариста мог быть выпускник Черниговской семинарии Иван Григорьевич Кулжинский, преподававший латынь в Нежинской гимназии высших наук в 1825–1829 гг. Такое сходство подчеркивали форменный «светло-синий сюртук» педагога с «большими костяными пуговицами» (III, 265) и, вероятно, пародийное описание облика, особенностей характера и поведения сына дьякона из г. Глухова, а также подробностей его личной жизни, известных гимназистам. По-видимому, его узнаваемые черты были разделены между двумя героями, что отчасти подтверждают известные латинские изречения бывшего семинариста и украинские присловья кухмистера Онисько, перешедшие к последнему из раздела «Пословицы, поговорки, приговорки и фразы малороссийские» в гоголевской «Книге всякой всячины», записанного в 1827–1828 гг.

Это позволяет полагать, что главы «выросли» из гимназической пародии на повесть В. Ирвинга «Легенда о Сонной Лощине» (в рус. переводе 1826 г. – «Безголовый мертвец»⁶²) и в этом качестве были одним из первых опытов комического бытописания у Гоголя, наряду с его сатирой «Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан». Сближение с повестью В. Ирвинга

⁵⁸ Розов В. А. Традиционные типы малорусского театра XVII–XVIII вв. и юношеские повести Н. В. Гоголя // Памяти Н. В. Гоголя: Сб. речей и статей, изд. Императорским ун-том Св. Владимира. Киев, 1911. С. 109–113. В отличие от вертепа, в малороссийской драме XVIII в. козака обычно наделяли «презрением к мирной жизни, ее занятиям и ремеслам, пренебрежением к имуществу, богатству, особенно золоту и серебру, отвращением к роскоши. Слава единственная цель его жизни, оружие – одна его радость, война – единственное занятие и искусство» (Там же. С. 106).

⁵⁹ Кукольник Н. Вольный гетман пан Савва: в 2 т. СПб., 1852. Т. 2. С. 455.

⁶⁰ Учитель. (Из малороссийской повести «Страшный кабан») // Лит. Газета. 1831. № 1; подпись «П. Глечик»; Успех посольства. (Из малороссийской повести «Страшный кабан») // Там же. № 17; б/п. Псевдоним П. Глечик указывал на героя «Главы из исторического романа» Гоголя в альманахе «Северные Цветы на 1831 год».

⁶¹ <Кулиш П. А.> Николай М. Записки о жизни Н. В. Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем: в 2 т. СПб., 1856. Т. 1. С. 16. Далее: Кулиш П. А. Записки о жизни Гоголя.

⁶² Московский Телеграф. 1826. Ч. 9. С. 1 16–142, 161–187.

подтверждалось сходством внешности и поведения учителя из американской глубинки Ича-бода Крана с «педагогом»-семинаристом, имени и внешности «красавицы Катерины», характеристикой соперников. Однако существование *всей* «малороссийской повести “Страшный кабан”» более чем сомнительно, ибо две разрозненных главы основывались на известном читателю сюжете повести В. Ирвинга о любовном соперничестве пришлого учителя с деревенским шалопаем за прекрасную Катерину и фактически не нуждались в восполнении⁶³. Само название «Страшный кабан» указывало, что для посрамления своего незадачливого соперника шалопай использует какое-то малороссийское поверье (ср.: «черт с свиною личиною» в легенде о красной свитке из «Сорочинской ярмарки»). Причем два типично малороссийских характера: «педагог»-семинарист и разгульный деревенский шалопай – здесь как бы дополняли друг друга, ибо порознь восходили к герою украинских интермедий дяку-пиворезу, типу школьника / семинариста, который, «отбившись от школы за великовозрастием... увлекается предметами, чуждыми строгой духовной науке: ухаживает и за торговками, и за паннами, пьянствует... пускается в рискованные аферы»⁶⁴. В дальнейшем чертами того же типа будет наделен Хома Брут в повести «Вий».

Имена героев, по общеизвестному тогда значению, были соотносимы с амплуа персонажей народной комедии: Иван – простак; Онисько (Анисим) – «исполнитель»; Катерина – «чистая». Имя козака Харька восходило к греческому имени Харитон – «щедрый, осыпающий милостями», хотя напоминало... хорька и маленькую харю, а прозвище Потылица означало «затылок» (тот, кто «ничего не видит, не ведает»). У мирошника / мельника Солопия Чубко прозвище связывалось с «чубом» – метонимическим обозначением козака, а имя – с украинским глаголом солопити – «лизать, высовывая язык»⁶⁵ (тем же народным именем Солопий, созвучным и салу, и холопу, и салопу – верхней женской одежде в виде широкой длинной накидки, Гоголь назовет простака Черевика в «Сорочинской ярмарке»). Отношения героев были простодушно-естественными, земными – соответственно окружающему. Автор высмеивал *несовершенство* человеческой природы, ее смешные, физиологические, «животные» черты, порождавшие такие извечные пороки, как обжорство, пьянство, женская трусость, болтливость⁶⁶, – без какого-либо *демонического* оттенка. Вероятно, даже утрашение и посрамление учителя (которое тот в повести В. Ирвинга воспринимал как *мистическое*) получило бы простую разгадку, а взаимная любовь возвысила бы героев над их недостатками и обыденностью. Но здесь же звучали и достаточно тревожные нотки: недоучка-семинарист «торжествовал» в храме над дячком, «сам сатана перерядился в... бабу», «старую ведьму» (III, 275, 276), а кухмистер, который, по просьбе учителя, должен был объявить о его любви Катерине, обнаружив ее чувство к себе, тут же отказывался, ради личного счастья, от мужской дружбы (как Андрий).

«История создания семьи», намеченная в этих главах, сближает их с большинством повестей будущих «Вечеров». Кроме того, давно отмечено, что объяснение кухмистра Онисько и красавицы Катерины почти дословно повторится в диалоге кузнеца Вакулы с Оксаною из повести «Ночь перед Рождеством», в повести «Сорочинская ярмарка» литературным прототипом Хиври отчасти станет Симониха, а прототипом поповича Афанасия Ивановича – семинарист Иван Осипович [III, 710]. Образ хлопчущей по хозяйству Анны Ивановны даст начало изображению таких хозяйственных помещиц, как тетушка Шпоньки, а в повести «Старосветские помещики» Пульхерия Ивановна Товстогуб. Намеченный мотив перехода мужской дружбы во

⁶³ Ср.: «... между этими фрагментами есть сюжетные пропуски, которые или заполнены в не дошедших до нас частях, или же должны быть заполнены потом» (Мани Ю. В. «Сквозь видный миру смех...» С. 240).

⁶⁴ Перетц В. Гоголь и малорусская литературная традиция // Н. В. Гоголь. Речи, посвященные его памяти... СПб., 1902. С. 50–51.

⁶⁵ Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. 2-е изд. М., 1986. Т. III. С. 714. Далее — *Словарь Фасмера*.

⁶⁶ Об этом см.: Мани Ю. В. «Сквозь видный миру смех...» С. 238–240.

вражду предвосхищает ссору двух Иванов. Но есть в этих главах и то, что уже не повторится в другом художественном произведении Гоголя: никогда больше он не будет так близок к *современности*, к дорогим ему «берегам Голтвы» (III, 265)⁶⁷, к своим юношеским устремлениям⁶⁸ и так оптимистичен!

Здесь выражены его «гимназические» просветительские взгляды на природу человека и общества, которую еще можно исправить правильным и последовательным естественным развитием. Его герои сами, без родителей, и рационально, и под влиянием чувств определяют свою судьбу, несмотря на трудности (отчасти водевильного характера); над героями не властно их несовершенное *прошлое*, они готовы отказаться от *настоящего* лишь во имя лучшего *будущего*. А *чудесное* является им **вне** действительности – в мечтах, в сфере воображения, с книжным и театральным оттенком (стоицизм, Орест и Пилад, Мельпомена, вертеп), или относится к народным преданиям, – для *чудесного* в действительности просто не остается места.

Повесть «Вечер накануне Ивана Купала», как мы говорили выше, показывала *прошлое* отвратительным, несправедливым, безобразным, *будущее* – сомнительно-неопределенным, а *чудесное* – как языческо-демоническое наваждение. Видимое снижение образа козачества в повести приводит к тому, что единственными защитниками односельчан (и самой православной веры) от демонического воздействия предстают одиночки: священник Афанасий и Пидорка (Федора), подвиг которых возможен только *вне* обычной жизни – в освященном пространстве церкви или монастыря – и потому несколько *статичен*. Соответствует этому и значение имен героев: Афанасий – греч. «бессмертный», Пидорка (от Феодора – греч. «Божий дар»). Имена Афанасия и Феодора носили многие видные духовные лица в России, а священник – борец с нечистой силой, вероятнее всего, назван так в честь одного из отцов церкви, епископа александрийского Афанасия Великого (293–373), воителя с арианской ересью, «творца компромисса» между белым и черным духовенством, иерархией и монашеством (можно соотносить с этим решение Пидорки уйти в монастырь). Правда, священник Афанасий оказывается во многом бессилен перед бесом. Имя героя Пётр (греч. «камень») и здесь, и в повести «Страшная месь» (1832) обозначает вероотступника, изменника, предателя, чью «двойственность» души Гоголь, видимо, связывал с евангельской легендой о том, как будущий апостол Пётр трижды отрекся от Учителя, Который это предсказал. Кроме того, глава католической церкви занимает престол св. Петра (в тексте слово «католик» означает «враг Христовой церкви и всего человеческого рода», то есть дьявол. – I, 140). Так ономастика проясняет символический подтекст повести.

Вместе с тем предисловие повести ограничивало ее действие **одним** «старинным чудным делом», **одной** из возможных точек зрения на прошлое, наряду с «наездами запорожцев» и «молодецкими делами» (I, 138). По мере изложения его тенденциозность во многом смягчали субъективность и сказочность, отдаленность действия во времени, ирония и оптимизм старого дьячка, отчасти дезавуирующие апокалипсическую перспективу: ныне, по его словам, бывший «бедный хутор» стал селом, нравы исправляются, исчез бесовский шинок на Опoшмянской дороге, и «теперь на этом самом месте, где стоит село... кажись, все спокойно; а ведь еще не так давно <...> доброму человеку пройти нельзя было» (I, 151–152). Однако представленное в повести **негативное** отношение к прошлому козачества в целом **не характерно** ни для известных Гоголю книг Цертелева, Максимовича, Кулжинского, ни для трудов Бантыша-Каменского, где подобные инвективы адресовались лишь «изменникам-запорож-

⁶⁷ Отец писателя В. А. Яновский родился на хуторе Купчинском у реки *Голтвы*, затем названном по его имени Васильевкой, а по фамилии – Яновщиной (*Шенрок В. И.* Мат-лы для биографии Гоголя: в 4 т. М., 1892–1897. Т. 1. С. 37). Неподалеку, тоже вблизи *Голтвы*, родилась и выросла мать Гоголя. Однако конкретность самого топонима относительная: тогда в р. Псёл впадало пять рек под именем Голтва – Зеньковская, Ольговая (Ольховая), Средняя, Сухая и, наконец, Шишацкая, протекавшая у Васильевки.

⁶⁸ См. об этом: *Мани Ю. В.* «Сквозь видный миру смех...» С. 240.

цам» (примеры см. в § 4). А поскольку *демоническое* будет обосновано в «Вечерах» несколько иначе, то, вероятно, перед нами первоначальный этап разработки концепции козачества, который можно назвать «цивилизаторско-государственным», когда начинающий писатель (видимо, под воздействием гимназического курса истории) связывал смягчение «хаоса» буйных языческих народных нравов, его упорядочивание и установление «космоса» общественного согласия с влиянием «русской» Церкви и последующим вхождением в Русское государство (то есть с гармонией славянской империи, ее цивилизации). Здесь воинственность козаков объясняется «азиатской» традицией и страстью к наживе как сила *бесовская* – агрессивная, разрушительная, антинародная, которая разобщает людей, делает чужими родителей и детей, мужа и жену, плодит сирот. И характерно, что, обрабатывая повесть для «Вечеров», Гоголь предисловие к ней сделал ярко полемическим, но в самом тексте сузил круг демонических проявлений, исключив упоминания о шайке Басаврюка, о трусости козаков, их равнодушии к церкви... Впрочем, уже в «Главе из исторического романа» (1831) Гоголь воплотил **иное** бытовавшее представление: воинственность козаков была вызвана покушениями вероломных соседей на их землю, веру, обычаи предков, попытками изменить народную жизнь, навязать не свойственные ей ценности, начиная с унии 1596 г.

Та и другая концепции козачества перекликаются в повестях «Вечеров на хуторе близ Диканьки», где прошлое и современность взаимосвязаны тем, что во времена Гоголя *казаками* уже стали именоваться и военнотруженики, состоявшие в реестре, и государственные, «казенные» крестьяне. Считалось, от прежних воинов-козаков «произошли и украинцы, составлявшие прежде Малороссийское войско: остаток оного суть нынешние казаки, но они уже не воины, а сельские жители. Они пользуются особливими правами, не состоят в крестьянстве и могут торговать вином <...> остается их в Малороссии еще весьма много, где и живут отдельно или вместе с крестьянами»⁶⁹. В повести о малороссийском разбойнике (конец 1820-х гг.) О. М. Сомов указывал: «Казаками в Малороссии называются и теперь все казенные крестьяне. В Слободско-Украинской губернии носят они имя казенных обывателей»⁷⁰.

И уже в «Вечерах» будет воспето изначальное единство в *прошлом* вольных хлебопашцев, ремесленников и защитников родной земли, которое явно противопоставлено *современным* отношениям крепостной зависимости. Позже, во 2-й редакции «Тараса Бульбы», Гоголь покажет, как в *прошлом* на первый же призыв добиваться «славы рыцарской и чести <...> доставать козацкой славы!» – «Пахарь ломал свой плуг, бровари и пивовары кидали свои кади и били бочки, ремесленник и торгаш посылал к черту и ремесло и лавку, бил горшки в доме. И все, что ни было, садилось на коня» (II, 47–48). Об этом былом единстве, вновь проявившемся в Отечественную войну, писатель хотел напомнить современникам, не скрывая и разрушительных тенденций в обществе, негативных черт народного характера, что выявляет История. В «диканьском» цикле, где все повести так или иначе о козаках, нынешние, внешне благополучные «истории создания семьи» («Сорочинская ярмарка», «Майская ночь», «Ночь перед Рождеством») противопоставлены низкой бытовой прозе «истории одиночества Шпоньки», «истории создания и разрушения семьи» в «Вечере накануне Ивана Купала» или «истории уничтожения семьи и рода» в «Страшной мести», хотя и сами обнаруживают некоторые явные или скрытые *чудесные* проявления *демонического*⁷¹.

Изображая *чудесное* в своих первых малороссийских произведениях, Гоголь и следовал сложившимся литературным традициям, и отступал от них – впрочем, тоже в соответствии с духом романтического направления русской литературы. К тому времени творческое освоение фольклора и культурного наследия Древней Руси продолжалось около 70 лет. Под вли-

⁶⁹ Маркович Яков. Записки о Малороссии, ее жителях и произведениях. СПб., 1798. Ч. I. С. 39.

⁷⁰ Цит. по: Сомов О. Гайдамак. Малороссийская быль // Русские альманахи: Страницы прозы. С. 190.

⁷¹ Об этом см.: Мани Ю. В. Поэтика Гоголя. С. 69–74.

янием отечественной эстетики и историографии во второй половине XVIII в. были созданы такие популярные произведения, как «Пересмешник, или Славенские сказки» (1766–1768) М. Д. Чулкова, «Славенские древности, или Приключения славенских князей» (1770–1771) М. И. Попова, «Русские сказки, содержащие Древнейшие Повествования о славных Богатырях. Сказки народные и прочие, оставшиеся чрез пересказывание в памяти Приключения» (1780–1783) В. А. Левшина, его же «Вечерние часы, или Древние сказки Славян Древлянских» (1787) и др. «Краткий мифологический лексикон» Чулкова (1767), затем неоднократно переиздававшийся под разными названиями, стал основой знаменитой «Абевеги русских суеверий, идолопоклоннических приношений, свадебных простонародных обрядов, колдовства, шеманства и проч.» (1786). В большинстве «сказок» мифопоэтический мир Древней Руси воссоздавался авторами на основе сюжетов богатырского эпоса, традиционных фольклорных мотивов, особенно волшебной сказки, и «полуисторических» сведений о язычестве, быте и нравах древних славян. Особенно значимым было сближение таких произведений с западноевропейским рыцарским романом, подчеркнутое прямыми историко-литературными соответствиями (например, изображением турнира вместо поединка), или, наоборот, скрытое отторжение от этого жанра, подтверждавшее своеобычность, оригинальность изображаемого, его отличие от западноевропейского⁷². И Россия представляла естественной «законной наследницей», «правопреемницей» древнерусского мифопоэтического мира, сопоставимого с мифами средневековой Европы.

Те же тенденции изображения сказочного прошлого сохраняла русская литература начала XIX в. Таковы сказочно-рыцарские «Славенские вечера» В. Т. Нарезного (1809; переизд. 1826), баллады, сказки и «древнерусская» проза В. А. Жуковского, поэма «Руслан и Людмила», баллады и сказки А. С. Пушкина. Особые заслуги в этом у историографии (известно, как «История Государства Российского» Карамзина вдохновляла авторов в 1820–1830-е гг.) и западноевропейских исторических литературных жанров, романов В. Скотта⁷³. Так, например, «Двенадцать спящих дев» В. А. Жуковского были вольным переложением в стихах историко-мистической повести Х. Шписа.

В подобных произведениях русской литературы чудесное было имманентно свойственно средневековому миру, а потому представлено или фольклорными, или европейскими книжными образами традиционных носителей (волхв-колдун-кудесник, финн или восточный чародей). К середине 1820-х гг. под воздействием немецкого романтизма – в частности, произведений Э. Т. А. Гофмана – чудесное начинает проникать в изображение современной действительности (например, описание русского городского быта в повести А. Погорельского «Лафертовская Маковница» 1825 г.), – причем модифицируются, «маскируются» под обычных героев, и носители чудесного. Однако его сфера продолжает ограничиваться русским, сугубо европейским или восточным. Так, в сборнике «Двойник, или Мои вечера в Малороссии» (1828)⁷⁴ намеченный несколькими деталями украинский фон не имел прямого отношения к самому повествованию о таинственном в русской и европейской жизни. Черты глухого провинциального быта обозначали окраину России, удаленную от европейской культуры, где сама обстановка как бы инициировала «образованное» повествование о необычном (ср. позицию рассказчика в «Предисловии» Пасичника ко второй книжке «Вечеров»: «Я всегда люблю приличные разговоры; чтобы, как говорят, вместе и услаждение и назидательность была...» – I, 196).

⁷² См. об этом: *Троицкий В. Ю.* Художественные открытия русской романтической прозы 20–30-х годов XIX века. М., 1985. С. 28–41.

⁷³ Об огромном влиянии романов В. Скотта на русскую литературу см.: *Альтшуллер М. Г.* Эпоха Вальтера Скотта в России.

⁷⁴ <Перовский А. А.> Двойник, или Мои вечера в Малороссии: в 2 ч. Соч. Антония Погорельского. СПб., 1828.

Главная же особенность ранних произведений Гоголя, при явной ее близости к повествовательной манере тех или иных его литературных предшественников и современников, состоит в том, что здесь Малороссия – пожалуй, впервые! – предстала краем чудес, настоящим заповедником мифопоэтического мира, со своей Историей, отражавшейся в современности, как устные предания, песни, сказки европейского ее народа – в книгах и в жизни. Здесь христианское встречается (а главное, уживается) с язычеством, Божественное – с демоническим, чудесное – с обыденным, славянское и «русское» – с европейским, то и другое – с азиатским... Таким образом, еще не входя в пушкинский круг, Гоголь понимал задачу создания истории народа в духе времени – скорее как литературно-историософскую, нежели как научно-историческую, – но при этом не оставлял и планов большой теоретической работы, продолжая сбор различных исторических сведений.

§ 4. Гоголь в работе над «Историей Малороссии». Обзор историко-литературных трудов о козачестве

Дальнейшее осмысление Гоголем истории Украины связано с преподаванием всеобщей истории в Патриотическом институте и завершением в 1832 г. «Вечеров на хуторе близ Диканьки». С этого времени он сочетает занятия всемирной, русской и малороссийской историей, штудирует различные источники, обращается к летописям. Так, в письме к И. И. Срезневскому от 6 марта 1834 г. Гоголь упоминал «летописи Конисского, Шафонского, Ригельмана», уточнив: «Печатные есть у меня почти все те, которыми пользовался Бантыш-Каменский», – утверждал, что из летописей, названных Срезневским, он не знает всего две, и просил того сообщить выписки из рукописных, еще не опубликованных летописей (X, 298–299). На первых же порах он пользовался сведениями из летописей Грабянки и Самовида, книг «Летопись Малой России, или История Казаков запорожских и Казаков украинских» (1788) Ж. Б. Шерера и «Описание Украины» Г. Л. де Боплана⁷⁵.

Впервые о своем труде Гоголь открыто упомянул в письме к М. А. Максимовичу от 9 ноября 1833 г.: «Теперь я принялся за историю нашей единственной бедной Украины. Ничто так не успокаивает, как история. Мои мысли начинают литься тише и стройнее. Мне кажется, что я напишу ее, что я скажу много того, что до меня не говорили» (X, 284). 23 декабря 1833 г. он сообщил А. С. Пушкину, что «достал летопись без конца, без начала, об Украине, писанную, по всем признакам, в конце XVII века», а в Киеве (если ему дадут место профессора в Киевском университете) он хочет закончить «историю Украины и юга России» (X, 290). Чуть позже, в письме М. П. Погодину от 11 января 1834 г., Гоголь восторженно признавался: «Ух, брат! Сколько приходит ко мне мыслей теперь! да каких крупных! полных, свежих! мне кажется, что сделаю кое-что необщее во всеобщей истории, малороссийская история моя чрезвычайно бешена, да иначе, впрочем, и быть ей нельзя. Мне попрекают, что слог в ней слишком уже горит, не исторически жгуч и жив; но что за история, если она скучна!» (X, 294). По-видимому, Гоголь в то время считал художественными и «мысли» о всеобщей и украинской истории, и «пламенный слог» их воплощения – в отличие от Карамзина, который в «Предисловии» к ИГР требовал от историка представить читателю «единственно то, что сохранилось от веков в летописях, в архивах», ибо «здравый вкус... навсегда отлучил Дее-писание от Поэмы, от цветников красноречия, оставив в удел первому быть верным зеркалом минувшего, верным отзывом слов, действительно сказанных Героями веков»; а ниже, в характеристике замечательных исторических трудов, сообщалось, что «усердно хваля Мюллера (историка Швейцарии), знатоки не хвалят его Вступления, которое можно назвать Геологическою Поэмою», – подобное «желание блистать умом, или казаться глубокомысленным, едва ли не противно истинному вкусу» (ИГР, 18–19). Гоголя явно стесняли такие рамки. Ведь сама История, как заявит он в статье «О преподавании всеобщей истории» (1834), должна «составить одну величественную полную поэму <...> Слог профессора должен быть увлекательный, огненный <...> Каждая лекция профессора непременно должна... в уме слушателей... представляться стройною поэ-

⁷⁵ *Annales de la Petite-Russie, ou L'Historire des Casaqes Saparogues et les Casaqes de l'Ukraine*. Paris, 1788; Описание Украины, соч. Боплана / пер. с фр. Н. Устрялов. СПб., 1832. Гильом Левассер де Боплан (около 1595–1685), французский инженер и военный картограф, с 1631 по 1647 г. находился на польской службе, принимал участие в походе Конецпольского на Павлюка и Острянина (1637–1638). Его «Описание Украины» (в 1-м изд.: «Description des contrées du Royaume de Pologne, contenues depuis les confins de la Moscovie, insques aux limites de la Transilvanie. Par le Sieur de Beauplan» / «Описание окраин Королевства Польши, простирающихся от пределов Московии, вплоть до границ Трансильвании», 1651; 2-е доп. изд.: «Description d'Ukraine, qui sont plusieurs provinces du Royaume de Pologne. Contenues depuis les confins de la Moscovie, insques aux limites de la Transilvanie». Руан, 1660) практически впервые познакомило западного читателя с Украиной, ее географией, экономикой, бытом и нравами ее жителей. Книга вызвала интерес в Европе, и потому в XVIII в. ее перевели на английский и немецкий языки.

мою...» (VIII, 26, 28, 30). Но размах научно-художественных его замыслов требовал все новых и новых материалов...

В начале 1834 г. в газетах «Северная Пчела» и «Молва», а также в журнале «Московский Телеграф» Николай Гоголь напечатал «Объявление об издании Истории Малороссийских казаков»⁷⁶, где заявил, что «еще не было полной, удовлетворительной истории Малороссии и народа, действовавшего в продолжение почти четырех веков независимо от России», не было показано, «как образовался... этот воинственный народ, козаки, означенный совершенною оригинальностью характера и подвигов», и его «место в истории мира»; и потому автор брал на себя этот тяжелый, но почетный труд. Намечая его главные цели, Гоголь набросал развернутый план предисловия (или вводной статьи): «...представить обстоятельно, каким образом отделилась эта часть России; как образовался в ней этот воинственный народ <...> как он три века с оружием в руках добывал права свои и упорно отстоял свою религию; наконец, как нечувствительно исчезало воинственное бытие его и превращалось в земледельческое; как мало-помалу вся страна получила новые взамен прежних права и наконец совершенно слилась с Россиею». Далее сообщалось, что автор «около пяти лет собирал... с большим старанием материалы» и «половина... истории почти готова», но с выпуском ее он медлит, «подозревая существование многих источников... неизвестных, которые, без сомнения, где-нибудь хранятся в частных руках», и потому предлагалось присылать ему «какие бы то ни было материалы: записки, летописи, повести бандуристов, песни, деловые акты, особливо относящиеся к первобытной Малороссии...» (IX, 76–77).

В письме М. А. Максимовичу от 12 февраля 1834 г. Гоголь обещает «Историю Малороссии», написанную «в шести малых или в четырех больших томах», «от начала до конца» (X, 297). Однако И. И. Срезневскому, который откликнулся на «Объявление» и предложил прислать необходимые материалы, 6 марта 1834 г. Гоголь уже пишет о том, что «недоволен польскими историками», а к украинским «летописям охладел, напрасно сисясь в них отыскать то, что хотел бы отыскать. Нигде ничего о том времени, которое должно бы быть богаче всех событиями <...> И потому-то каждый звук песни мне говорит живее о протекшем, нежели наши вялые и короткие летописи...» (X, 298–299). Фактически это приговор задуманной «Истории Малороссии», если не Истории как таковой...

Именно в марте-апреле 1834 г., по мнению исследователей, была вчерне набросана повесть «Тарас Бульба» – своеобразный «поэтический» вызов Гоголя компилятивным научным трудам, тенденциозным летописям и сочинениям, что, вероятно, разрушило в его глазах прежний замысел. Но и чуть позднее в «Отчете по Санкт-петербургскому учебному округу за 1835 год» утверждалось, что Гоголь «занимается... разысканием и разбором для Истории малороссиян, которой два тома уже готовы, но которые, однако ж, он медлит издавать до тех пор, пока обстоятельства не позволят ему осмотреть многих мест, где происходили некоторые события»⁷⁷. Началом большого исторического сочинения и обещал стать «Отрывок из Истории Малороссии. Том I, книга 1, глава I», опубликованный весной 1834 г. вместе со статьей «О малороссийских песнях»⁷⁸. Но напрасно читатель стал бы здесь искать фактической точности, перечня дат и событий – даже «приложения и ссылки» были отложены «за недостатком места» (VIII, 592), ибо, согласно идее «поэтической истории народа», концепция автора оказалась воплощена живым, образным повествованием, своего рода исторической поэмой о козаках как основе нации, ее стержне, «соли земли». Видимо, потому Гоголь в «Отрывке из Истории Малороссии» и не разделяет козачество на Запорожское и «остальное», и вообще

⁷⁶ Северная Пчела. 1834. № 24. От 30 января; Московский Телеграф. 1834. № 3 (под заглавием «Об издании Истории Малороссии»); Молва. 1834. № 8.

⁷⁷ *Машиный С. И.* Художественный мир Гоголя. М., 1971. С. 150.

⁷⁸ Журнал Министерства Народного Просвещения (*ЖМНП*). 1834. № 4. С. 1–26.

обходит весьма актуальные тогда вопросы о происхождении козаков и самого слова «козак», которые каждый автор считал необходимым ставить заново и уже по-своему излагать.

В первую очередь, это был вопрос об отношении к запорожцам. В украинском фольклоре запорожец – только положительный герой, легко берущий верх над врагами, демоническими силами и самой смертью. Обычно вертепное «представление оканчивалось дракою Запорожца со смертью, побиением и бегством последней, уничтожением чёрта пред Запорожцем...»⁷⁹. Однако в повести «Пропавшая грамота» выясняется, что удалец-запорожец, не уступающий ни в чем козаку, посланцу гетмана, когда-то продал душу черту, – потому и козак вынужден иметь дело с нечистой силой. В повести «Ночь перед Рождеством» бывший запорожец Пузатый Пацюк (Крыса) фантастически ленив, прожорлив – словно животное – и, как считают селяне, «немного сродни черту», в то же время он «знахарь» и провидец (I, 222–223). В петербургском же мире запорожцы оказываются простыми и наивными, как дети, хотя и хитрыми, грубыми, надменными, невежественно-жестокими. Подобная «двойственность» их образов обусловлена трактовкой запорожцев в отечественной историографии, публицистике и литературе того времени.

С конца XVIII в. запорожские козаки (не малороссийское козачество), как правило, изображались «изменниками» и «разбойниками». На это были причины... В 1708 г. после измены гетмана Мазепы часть запорожцев влилась в его войско и сражалась с армией Петра I, а затем ушла в днепровские низовья под руку Крымского хана. Поэтому Старая Сечь на острове Чертомлык в 1709 г. была разрушена регулярными войсками, запорожцы объявлены врагами России, а если кого-то из них ловили, его ждала виселица. В 1733 г. запорожцы отказались помочь мятежу поляков против русских, и в 1734 г., после официального помилования, им разрешили вернуться к охране российских границ. На Днестре под Никоподем они основали Новую Сечь, которая постепенно превратилась в центр антифеодального движения и была разорена после разгрома Пугачевщины в 1775 г. Тогда многие запорожцы ушли в Турцию – и в устье Дуная основали Сечь Задунайскую, то есть вновь, с точки зрения России, переметнулись к врагу, что и отразилось на государственном отношении к ним.

Воспринимать запорожцев стали совсем по-иному лишь после того, как войско задунайцев во главе с кошевым Осипом Гладким к началу русско-турецкой войны в 1828 г. перешло на российскую сторону, повернув оружие против турок. Переменившееся отношение к запорожцам и Сечи на рубеже 1830-х гг. отразилось в стихах Н. Маркевича, в подборе запорожских песен и дум в сборниках И. Срезневского и М. Максимовича – **наряду** с традиционной демонизацией запорожцев (ей по-своему отдал дань в «Вечерах» и Гоголь).

Второй – не менее острый, связанный с первым вопрос о соотношении запорожских козаков и малороссийского козачества. В «Краткой летописи Малой России с 1506 по 1776 год», записи которой якобы «ведены были Генеральными Малороссийскими писарями, бывшими при Гетманах», а «получены... от преосвященного Георгия (Конисского. – В. Д.), епископа Могилевского»⁸⁰, говорилось, что «поляки, владеющие Киевом и Малою Россиею» хотели «в работе и подданстве людей малороссийских украинских содержать, которые, не приобывши жить в невольничьей службе, избрали себе место пустое около Днепра, ниже порогов Днепровых, на жиле, где в диких полях, упражняясь в звериных и рыбных ловлях, при том Бусурман, на море разбиваючи, укрощали, называясь Козаками от древних Козаров, рода славено-российского, при Кагане еще служивших в походах на Грецию <...> Король Жигмунт I (Сигизмунд I. – В. Д.)», в ответ на разорение Малой России татарским ханом Мелик-Гиреем, в 1516 г.

⁷⁹ Украинские мелодии. Соч. Ник. Маркевича. С. XVI–XVII.

⁸⁰ Краткая летопись Малой России с 1506 по 1776 год, с изъяснением настоящего образца тамошнего правления и с приобщением списка преждебывших Гетманов, Генеральных Старшин, Полковников и Иерархов; також землеописания с показанием городов, рек, монастырей, церквей, числа людей, известий о почтах и других нужных сведений, издана Васильем Григорьевичем Рубаном. СПб., 1777. Б/п.

«собрал охотного войска как поляков, так и козаков многое число, которые завоевали турецкий Белгород и возвращаясь с корыстями, как на них напали турки и татары, хотя отнять корысти, то они и тех нападших на себя победили, и от того времени не только козаки, но и поляки назывались козаками, аки бы вольными бесплательными воинами. От того ж времени козаки малороссийские, чрез храбрость и силу, отменную и повсюду гремящую славу приобрели, воюя часто с турками, и в тех войнах к алчбе и жажде, к морозу и зною приобькли.

Каким же порядком жили и ныне еще живут, какое у них оружие и пища, о сем всякому известно быть может, да они ж в праздности жить никогда не любят, и для малой славы великую нужду принимают, и море переплывать отваживаются, и в лотках подьежая под турецкие города и разоря оные, с корыстьми в дома возвращаются, и для... военных дел их за честь вменяли из высоких польских фамилий быть у них Гетманами...»⁸¹

Таким образом, если верить «Летописи...», козаками стали украинцы, ушедшие от польской «неволи» за пороги Днепра, «в дикие поля» (т. е. степи), они же «разбивали» басурманов (мусульман) на море. Намечены их исторические связи с хазарами и Хазарским каганатом, в начале X в. занимавшим часть Северного Кавказа, Крыма, Приазовья и Приднепровья. Как видим, здесь украинские козаки ничем не различаются между собой: у них общее «древнее имя» и происхождение, одни и те же занятия.

В дальнейшем многие отечественные историки также представляли козак-ков основой всего народа, не отделяя от них Запорожской Сечи, – в отличие от западноевропейских авторов, в основном прославлявших запорожцев как основу и отдельную, лучшую часть козаков. Например, французский историк и дипломат Ж. Б. Шерер, восхищаясь тем, что именно запорожцы долгое время спасали и себя, и Европу от «наступления полумесяца», видел у «граждан этой республики» (Сечи) спартанское воспитание, постоянную готовность к бою, как у римлян; они всегда отважно защищали свой край и не зарились на чужие земли⁸².

В «Записках о Малороссии, ее жителях и произведениях», посвященных Д. П. Трошинскому и, безусловно, Гоголю известных, Я. Маркович утверждал, что «происхождение Козаков есть нерешимая в истории задача. Некоторые производят их от Козар и Коссогов, обитавших в древние времена при Днепре, или от какого-то вождя, Козаком именуемого⁸³; а по другому название сие произошло от того, что несколько поляков и малороссиян поселились на Днепровской косе, где они занимались ловлею диких коз⁸⁴. Может быть всех вероятнее следующее мнение, что в начале XVI века некто из малороссиян по прозванию *Дашкевич*, видя частые от Крымских татар набеги, уговорил многих единоземцев своих для отогнания неприятеля сего от своих пределов. Сие имело щастливый успех; и победители назвались тогда Козаками, что значит на татарском языке *легковооруженные* (Г. Болтин производит козаков от половцев, что также может быть справедливо)»⁸⁵.

Версию, иначе объясняющую все прежние, выдвинул Н. М. Карамзин. В т. V «Истории государства Российского» (1813) происхождение козаков он возводил к племенам «Торков и Берендеев», обитавших с дохристианских времен «на берегах Днепра, ниже Киева» (где потом жили козаки). Те «назывались *Черкасами*: Козаки также» – согласно официальным актам и документам Русского государства во 2-й половине XVI – 1-й половине XVII в.⁸⁶ Эти и другие доказательства позволили автору сделать вывод, что «Торки и Берендеи, называясь *Черкасами*,

⁸¹ Там же. С. 4–6 (далее – *Летопись* и № стр.).

⁸² *Annales de la Petite-Russie...* P. 4.

⁸³ По *Стриковскому*, польскому историку (Это и следующее – примечания автора. – В. Д.).

⁸⁴ Так думает другой польский историк *Веспасиан Каховский*.

⁸⁵ *Маркович Яков*. Записки о Малороссии... Ч. I. С. 38. Примерно то же значение слова *козак* дает Булгарин: «по-татарски значит *легковонец, легкий ездок*» (Димитрий Самозванец, исторический роман, соч. Ф. Булгарина: в 4 ч. СПб., 1830. Ч. II. С. 218. Далее – Димитрий Самозванец и № стр.).

⁸⁶ После воссоединения в 1654 г. они стали именоваться «малороссийскими казаками».

назывались и Козаками; что некоторые из них, не хотев покориться ни Моголам, ни Литве, жили как вольные люди на островах Днепра, огражденных скалами, непроходимым тростником и болотами; приманили к себе многих Россиян, бежавших от угнетения; смешались с ними, и под именем *Козаков* составили один народ, который сделался совершенно Русским, тем легче, что предки их, с десятого века обитав в области Киевской, уже сами были почти Русскими. Более и более размножаясь числом, питая дух независимости и братства, Козаки образовали воинскую Христианскую Республику в южных странах Днепра, начали строить селения, крепости в сих опустошенных татарами местах; взялись быть защитниками Литовских владений со стороны Крымцев, Турков, и снискали особенное покровительство Государей Польских»; а запорожцы всегда «были частию Малороссийских» козаков, и потому «сочинения о *Козаках Запорожских* <...> в 948 году» – просто «басни» (ИГР. Т. V. С. 215–216).

То есть, по мысли Н. М. Карамзина, козаки произошли от неких полуазиатских разбойничьих племен (кто не знал тогда, что *черкесы* разбойники?!), обитавших в Древней Руси близ Киева, принявших православие, почти русских, а потом уже совсем с ними смешавшихся. Затем они образовали свою Христианскую Республику в «опустошенных татарами местах», защищали Литву и Польшу, за что польские короли преобразовали их войско и даровали привилегии. А запорожцы были теми же козаками – но *холостями*, более жестокими, не знавшими иных занятий «кроме войны и грабежа». Это обнажает идеологическую задачу автора: показать козаков (такое название было и в турецком языке⁸⁷) не совсем русскими и не совсем разбойниками, в их массе «растворив» запорожцев. И тогда «азиатское варварство» козаков объясняется просто и естественно: «разбойничья кровь!» – На том же будут основываться писатели, изображая козаков разбойниками (см. об этом с. 121–123).

Позднее авторы брали одну из приведенных версий происхождения и названия козаков/казаков или предлагали свою – обычно «литературно-философическую», объединявшую несколько вариантов. Так, по мнению студента Харьковского университета А. И. Левшина (1798 или 1799–1879), «козак значит бездомовный. Сие объяснение Г. Болтина наиболее принято. Стриковский производит козаков от собственного имени вождя их Козака. Летопись Малой России и Левек утверждают, что сие слово означает *легко вооруженного*. Шерер в *Annales de la petite Russie* доказывает, что название козаков происходит от днепровской косы»⁸⁸.

В известном Гоголю-гимназисту сочинении «Малороссийская деревня» (1827) И. Г. Кулжинский вспоминал «то незабвенное в летописях время, когда козаки, основав из себя народ независимый и гордый, долго оставались предметом соблазна для честолюбия и спокойствия своих соседей. О происхождении сих могучих сынов брани и раздора можно то же сказать, что говорится о происхождении римлян. Шайка молодых людей, недовольных собою и, может быть, собственным сердцем, удалилась от взоров людей в обширные степи и, основавши там свое общество, страшными воинскими криками дала знать людям о своем существовании»⁸⁹. Однако такое цветистое определение весьма расплывчато и вызывает большие сомнения... Например, если козаки лишь «сыны брани и раздора», как могла их «шайка» стать «могучим обществом»? То есть они, с точки зрения автора, воевали только для самоутверждения и потому беспокоили соседей?

⁸⁷ Козак – «слово в Турецком языке... новое и произошло от разбоев Козацких. – Некоторые иностранные писатели производят название Козак от *косы, козы, козявки, козаров, Кипчака* и проч.» (ИГР. Т. V. С. 395; курсив автора). Впрочем, сам Карамзин оговаривал, что *Козаками* звали «вольницу, наездников, удальцов, но не *разбойников* <...> оно (это имя. – В. Д.), без сомнения, не бранное, когда витязи мужественные, умирая за вольность, отечество и Веру, добровольно так назывались» (Там же. С. 215–216).

⁸⁸ Письма из Малороссии, писанные *Алексеем Левшиным*. Харьков, 1816. С. 60; курсив автора. Далее: *Левшин А.* Письма из Малороссии.

⁸⁹ Малороссийская деревня, соч. И. Кулжинского. С. 104–105.

В официозной «Истории Малой России» (Гоголь ее прилежно штудировал, но отнюдь не со всем мог согласиться) Д. Н. Бантыш-Каменский сообщал: «... иностранные писатели весьма забавным образом изъясняют происхождение названия Козаков: Гербиний производит слово Козак от польского *Kossa* (коса или серп), потому что, по его мнению, Козаки или, по крайней мере, некоторая из них часть вооружены были косами. Пясецкий, Гарткнох и Ле Шевалье от *козы*, с которою сравнивают они проворство, ловкость и оборотливость Козаков в непроходимых местах! Зиморович от слова *Козака*, означающего, будто, на нашем языке муху!! желая чрез то показать сходное Козаков с мухами непостоянство и наглость; Де Гюинь от *Kiptschak*, и так далее! – В ежемесячном сочинении 1760 года, ч. I, стр. 309, упоминается, будто слово Козак означает на татарском языке *воина легко вооруженного или наездника*. Не зная языка татарского, не можем судить о справедливости сего показания. Впоследствии Козаками назывались все военнослужащие в Малой России. Так было и у татар <...> Вообще татары именовали Козаками всех вольных бездомовных людей, промышлявших военным ремеслом» (ИМР. Ч. 1. С. 14).

В фольклорном сборнике «Запорожская старина», наряду с цитатой из «Истории Русов», что Козаков (Козар) называли так «по легкости их конной, уподобляющейся козьему скоку», филолог-славист И. И. Срезневский (1812–1880) приводил и другие утверждения, стилизуя их под старославянский язык летописей: «А нарицахуся Козаками, яко глаголят, от древнего рода своего Козарска. Аще убо Веспасиян Коховский и от коз диких Козаков нарицает, яко тем скоростью добране соравняются, и ловом тех упражняхуся наипаче; но не прилично от коз Козаков нарицати. Приличнее Стриковский нарицает Козаков от древнего и славного их вождя Козака. Александер же Гванин от свободы нарицает Козаками, занеже яко продкове их не от нужд коей, но по доброй воле, охотне, и без найму на брань хождаху, тако и ныне Козаки храбрости своей не сокрывающе, ко брани охочи, видят бо вси на око, яко немцы, поляки и турки берут наем многий и между собою только биющиеся показывают храбрость, сопротивным же скоро дают прещи; и мужество их вси видят, ибо спод Лядского ига малою силою отъемльшися, на многих бранех Ляхов победиша и Лядскую всю землю повоеваша»⁹⁰. Все эти витиеватые формулировки можно свести к утверждениям: 1) козаки возводят свое название к козарам; 2) но неприлично называть козаков от «козы», как Коховский; 3) лучше, как Стриковский, именовать их по вождю Козаку, или же 4) от свободы, как Гванин, ибо козаки доказали это своей историей.

Примечательна точка зрения российского переводчика книги Боплана: «Украина, родная нам и по вере, и по языку, и по происхождению ее обитателей, отторгнута была литовцами от России в бедственные времена татарского владычества и вместе с Литвою в XIV столетии досталась Польше. С сего времени многие россияне, не терпевшие владычества поляков, соединились на берегах Днепра, в южных степях Украины, опустошенных татарами, построили селения, крепости – и под именем казаков с XVI в. прославились в истории удалством редким, невероятным. Рожденные для войны, с молоком матерним всасывая страсть к битвам, ненависть к мусульманам, они долго служили стражами литовским и польским владениям против татар и турков, ежегодно выплывали в Черное море, производили отважные поиски в Крыму, в Малой Азии, даже в окрестностях Константинополя. Воинственная жизнь, зависимость от поляков, непрерывные связи с татарами изменили их обычаи, самый язык, но вера и любовь к Отечеству всегда напоминали им, что они – сыны России. Так, еще в первую, счастливую эпоху царствования Иоанна Грозного, любимый вождь их, князь Дмитрий Вишневецкий, пылая ревностью служить под знаменами древнего своего Отечества, предлагал Иоанну все южные днепровские области. Обстоятельства не дозволили привести в исполнение сию великую мысль, и Казаки Украинские в смуты Самозванцев явились если не врагами России, <то> по крайней

⁹⁰ Срезневский И. И. Запорожская старина. Харьков, 1833. Ч. 1. Отд. II. С. 18–19, 51.

мере – своевольными хищниками; эту вину они загладили, избавив в половине XVII в. Малороссию от власти иноплеменников и возвратив Отечеству древнее достояние оногo. Никогда история Малороссии не была так любопытна, как в первой половине XVII в., когда Богдан Хмельницкий готовился ударить челом Русскому Государю: в это время казаки явили доблесть героев»⁹¹.

Сам Боплан описывал козаков, в первую очередь, как запорожцев, «искусных во всех ремеслах, необходимых для общежития: плотников для постройки домов и лодок, тележников, кузнецов, ружейников, кожевников, сапожников, бочаров, портных и т. д.»; они «весьма искусны в добывании селитры, которою изобилует Украина, и в приготовлении пушечного пороха <...> Все казаки умеют пахать, сеять, жать, косить, печь хлебы, готовить яства, варить пиво, мед и брагу, гнать водку и проч. <...> Впрочем, справедливо и то, что они вообще способны ко всем искусствам, хотя некоторые из них опытнее в одном, чем в другом. Встречаются также между ими люди с познаниями высшими, нежели каких можно было бы ожидать от простолюдинов. Одним словом, казаки имеют довольно ума, но заботятся только о полезном и необходимом, особенно о вещах, которые нужны для сельского хозяйства.

Плодородная земля доставляет им хлеб в таком изобилии, что они часто не знают, куда девать оный...»; а «в мирное время охота и рыбная ловля составляют главное занятие казаков»⁹².

У них русская – «греческая вера», и они соблюдают посты, обходясь без мяса, но никогда – без напитков! Все они «без различия пола (?! – В. Д.), возраста и состояния, стараются превзойти друг друга в пьянстве и бражничестве, и едва ли найдутся во всей Христианской Европе такие беззаботные головы, как казацкие <...> нет на свете народа, который мог бы сравниться с казаками в пьянстве: не успеют проспать и вновь уже напиваются... в досужее время», – зато в походе или на каком-то предприятии они трезвы. «Соединяя с умом, хитрым и острым, щедрость и бескорыстие, казаки страстно любят свободу, смерть предпочитают рабству и для защищения независимости часто восстают против притеснителей своих – поляков: на Украине не проходит семи или осьми лет без бунта. Впрочем, коварны и вероломны, а потому осторожность с ними необходима; телосложения крепкого, легко переносят холод и голод, зной и жажду; в войне неутомимы, отважны, храбры или, лучше сказать, дерзки и мало дорожат своею жизнью. Метко стреляя из пищалей, обыкновенного своего оружия, казаки наиболее показывают храбрость и проворство в *таборе*, огороженные телегами, или при обороне крепостей <...> сотня их в *таборе* не побоится ни тысячи ляхов, ни нескольких тысяч татар. Если бы конные казаки имели такое же мужество, как пешие, то были бы, по мнению моему, непобедимы. Одаренные от природы силою и ростом видным, они любят пощеголять, но только тогда, когда возвращаются с добычею, отнятою у врагов, обыкновенно же носят одежду простую»; все они «пользуются крепким здоровьем <...> Немногие из них умирают на постели и в глубокой старости: большая часть оставляет свои головы на поле чести»⁹³.

Эти наблюдения и рассуждения долгое время были краеугольным камнем при рассмотрении истории Украины, основывался на них и Гоголь. Описанные Бопланом черты характера и жизни козаков (отвага, мужество, предприимчивость, бытовое пьянство и трезвость в походе, защита в *таборе* и под.) стали важнейшими в структуре художественных и художественно-пуб-

⁹¹ Описание Украины. С. VI–VII. Возможно, срочный перевод записок Боплана был вызван тем, что сведения из них Ф. В. Булгарин использовал в историческом романе «Димитрий Самозванец» (1830), где обнаружились заимствования из трагедии Пушкина «Борис Годунов», отданной через генерала А. Х. Бенкендорфа на рецензию царю. Булгарина уличили в связях с III отделением С.Е.И.В. Канцелярии, фактически приравняв к заглавным героям его же романов – предателям, изменникам, переметчикам. См. об этом: Акимова Н. Н. Ф. В. Булгарин: литературная репутация и культурный миф. Хабаровск, 2002. С. 134–135.

⁹² Описание Украины. С. 5–6, 10.

⁹³ Там же. С. 6–8.

лицистических козацких образов у Гоголя. Он и доверял этим сведениям очевидца, и переосмысливал, и/или по-другому истолковывал их. Так, в черновых набросках писатель резюмирует приведенные выше наблюдения Боплана: «Этот народ не имел строгой расчетливости и размера на всю жизнь, следствие местоположения, беспечность, равнодушие к богатству и неуверенность в нем. Часто всё, накопленное трудами, обращало<сь> в одну праздничную попойку, в увеселение и забвение на одну минуту.

<Отсюда идет> Особенная страсть к увеселениям, к общественным гульбищам <...> Улица делается всеобщим собранием <...>

Все, что до наслаждения относилось, все это имел народ. Он в этом не отказывал себе никогда. Разнообразие разных блюд, совершенно [приличных] отличных в разные времена года, в разных случаях» (VIII, 600). Комментируя похвалу Боплана: «...надобно отдать справедливость украинским девицам. Хотя свобода пить водку и мед могла бы довести до соблазна, но торжественное осмеяние и стыд, коим подвергаются они, потеряв целомудрие, удерживают их от искушения»⁹⁴, – Гоголь размышляет: «Как просто, как высоко постигнуто это удержимое средство... Человек ничего так не боится, как стыда», – и видит именно в этом причины народной «вольности в обращении» (VIII, 600).

Другой, более важный для нас пример. В гоголевских записях по истории Украины есть примечание к основному тексту, явно позднее вписанное на чистой странице: «Около порогов водился род диких коз – сугаки, с белыми лоснящимися рогами, с мягкою, атласною шерстью»⁹⁵. – Это краткое переложение рассказа Боплана о «животном, которое по-русски называется сугаком. Величиною оно с козу, ноги имеет весьма тонкие, на голове два рога белые и лоснящиеся, шерсть мягкую, гладкую и нежную, как атлас, когда животное линяет <...> Я пробовал его мясо: вкусом оно не уступает козлятине...»⁹⁶ Таким образом, это «излишнее», немотивированное примечание о водившихся у днепровских порогов «диких козах», которое затем Гоголь ввел в текст исторической статьи, вероятно, следует понимать как его скрытое указание на то, что слово «козак» все же произошло от «козы».

⁹⁴ Там же. С. 77.

⁹⁵ Записная тетрадь Гоголя, из числа принадлежавших И. С. Аксакову. – Отдел рукописей РНБ. Фонд 199, ед. хр. 1. Л. 4. В дальнейшем: Записная тетрадь Гоголя (ПТ).

⁹⁶ Описание Украины. С. 92.

§ 5. Гоголевский «Взгляд на составление Малороссии»

По Гоголю, в образовании козацкой страны Малороссии важнейшую роль сыграл географический фактор. Азиатская Великая Степь породила монгольское хищное нашествие, которое, разрушив уже бессильную Древнюю Русь и погрузив в рабство Северную и Среднюю Россию, дало «происхождение новому славянскому поколению» на юге – в Степи и Приднепровье (VIII, 42). Эти места оказались оставлены народом, который «столпился» на однообразно-мрачных болотистых русских равнинах и здесь начал смешиваться с «народами финскими», становясь бесцветен, как сама природа⁹⁷. А покинутые земли постепенно заселили «выходцы из Польши, Литвы, России» (VIII, 43).

Говоря о том, как влияли на Киевскую Русь ее «сильные норманские князья», Гоголь следует «норманнской» теории – тогда единственной, научно объяснявшей происхождение древнерусского государства, – которую выдвинули в XVIII в. немецкие историки Санкт-Петербургской Академии наук Г. З. Байер, Г. Ф. Миллер, А. Л. Шлецер. Используя сведения «Повести временных лет» – древнейшего летописного свода Киевской Руси, они полагали, что древнерусское государство сформировалось под влиянием и непосредственным руководством выходцев из Скандинавии, известных в Европе как норманны или викинги, а на Руси – под именем варягов. Эту роль «норманнисты» объясняли неспособностью славянских племен к самостоятельному государственному объединению. В начале XIX в. – времени становления исторической науки в России – «норманскую» теорию разделяло большинство ученых, а среди них самые авторитетные для Гоголя – Н. М. Карамзин и М. П. Погодин. Последний был склонен преувеличивать западное воздействие на Киевскую Русь и даже объяснять этим ее Крещение.

В «Истории Государства Российского» на вопрос: «...кого именует Нестор Варягами?» – Карамзин отвечает, что, по сведениям Нестора, когда «Варяги овладели странами Чуди, Славян, Кривичей и Мери, не было на Севере другого народа, кроме Скандинавов, столь отважного и сильного, чтобы завоевать всю обширную землю от Бальтийского моря до Ростова (жилища Мери)... мы уже с великою вероятности заключить можем, что Летописец наш разумеет их под именем Варягов» (ИГР. Т. I. С. 55–56). Это подтверждают и скандинавские имена варяжских князей, и различные летописные сведения. Второй вопрос: «...какой народ, в особенности называясь *Русью*, дал отечеству нашему и первых Государей и самое имя..?» – По мнению историков, это было варяжское племя, называвшееся *Русью* и жившее в «Королевстве Шведском, где одна приморская область издавна именуется *Росскою*, *Ros-lagen*», и «Финны <...> донныне именуют *всех* ее жителей вообще *Россами*, *Ротсами*, *Рютсами*» (Там же. С. 57).

Однако, хотя Карамзин вслед за «норманнистами» XVIII в. тоже опирался на «Повесть временных лет», он дал этим сведениям иную, вовсе не унижающую славян трактовку: «Начало Российской Истории представляет нам удивительный и едва ли не беспримерный в летописях случай: Славяне добровольно уничтожают свое древнее правление, и требуют Государей от Варягов, которые были их неприятелями <...> Желая некоторым образом изъяснить сие важное происшествие, мы думаем, что Варяги, овладевшие странами Чуди и Славян за несколько лет до того времени, правили ими без угнетения и насилия, брали дань легкую и наблюдали справедливость. Господствуя на морях, имея в IX веке отношения с Югом и Западом Европы <...> Варяги или Норманы должныствовали быть образованнее Славян и Финнов, заключенных в диких пределах Севера; могли сообщить им некоторые выгоды новой промышленности и торговли, благодетельные для народа. Бояре Славянские, недовольные властью завоевателей, которая уничтожала их собственную, возмутили, может быть, сей народ легкомысленный, обо-

⁹⁷ В статье «Несколько слов о Пушкине» Гоголь отмечал, что в России до «императоров» (до Петровских времен) «характер народа большею частию был бесцветен...» (VIII, 52).

льстили его именем прежней независимости, вооружили против Норманов и выгнали их; но распрями личными обратили свободу в несчастье, не сумели восстановить древних законов и ввергли отечество в бездну зол междоусобия. Тогда граждане вспомнили, может быть, о выгодном и спокойном правлении Норманском: нужда в благоустройстве и тишине велела забыть народную гордость, и Славяне, *убежденные* – как говорит предание – *советом Новгородского старейшины Гостомысла*, потребовали Властителей от Варягов» (Там же. С. 93–94). То есть, по Карамзину, древнерусское государство возникло на основе *добровольного взаимовыгодного союза* Запада и Востока: восточные славяне призвали себе князей от варягов (скандинавов), которые пришли со своей дружиной, и это произошло мирно, по договору (а не путем завоеваний, как в других странах), что и обусловило дальнейшее интенсивное расширение, преобразование и развитие государства Киевская Русь. Переосмысливая это положение и творчески применяя его, дальше Гоголь в своей статье показывает, как из-за татаро-монгольского нашествия на землях Южной России восточные и западные славяне, черкесы и татары (европейцы и азиаты) объединялись православной верой и как в них «самопроизвольно» возрождался воинственный норманнский дух, сильнее всего – у запорожцев.

Окончательное отделение Украины и разрыв связей с остальной Россией произошли после завоевания юга «великим язычником» Гедимином, который «ни у одного из покоренных им народов не изменил обычаев и древнего правления...» (VIII, 43–44). То есть «отчизна славян» – в отличие от России, избежав длительного татарского владычества, – сохранила большую чистоту, культурную самобытность⁹⁸ («...со всеми языческими поверьями, детскими предрассудками, песнями, сказками, славянской мифологией, так простодушно... смешавшейся с христианством». – VIII, 43). А поскольку Украина не имела никаких естественных пограничных преград (степь да поле), но и «никакого сообщения» между своими частями, ей суждено было стать «землей опустошений и набегов», «землей страха». И «потому здесь не мог и возникнуть торговый народ», а возник «народ воинственный... отчаянный, которого вся жизнь... повита и взлелеяна войною»: сюда пришли те, чья «буйная воля не могла терпеть законов и власти...» (VIII, 45–46).

Великая Степь как гиблое пространство и – одновременно – богатырский простор свободного разгула стихий сводит исконное и чужеродное, православие с инославием (католическим, исламским, языческим), родовое с индивидуальным, и это дает начало новому народу, что «составляется» из «пестрого сборища самых отчаянных людей пограничных наций», где не только россияне, поляки, литовцы, но и «дикий горец», и «беглец исламизма татарин» (VIII, 47). И «эта толпа... составила целый народ, набросивший свой характер и, можно сказать, колорит на всю Украину, сделавший чудо – превративший мирные славянские поколения в воинственные... одно из замечательных явлений европейской истории, которое, может быть, одно сдержало это опустошительное разлитие двух магометанских народов, грозивших поглотить Европу» (VIII, 46).

Собственно, пафос статьи – принципиальное историко-географическое различие двух родственных славянских народов. Так, в рукописном отрывке «Размышления Мазепы» Гоголь отчетливо говорил о «самобытном государстве», принадлежавшем «народу, так отличному от русских, дышавшему вольностью и лихим козачеством, хотевшему пожить своею жизнью» (IX, 84). М. А. Максимович – отчасти вслед за Карамзиным – склонен был данное различие объяснять тем, что в Малороссии народную «массу... составили не одни племена славянские, но и другие европейцы, а еще более, кажется, азиаты. Недовольство и отчасти угнетение свели их в одно место, а желание хотя скудной независимости, мстительная жажда набегов и

⁹⁸ Здесь вероятно скрытая полемика с Н. М. Карамзиным, писавшим в своей записке «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» (1811): «Владимир, Суздаль, Тверь назывались Улусами Ханскими; Киев, Чернигов, Мценск, Смоленск – городами Литовскими. Первые хранили, по крайней мере, свои нравы, вторые заимствовали и самые обычаи чуждые» (цит. по: Воронаев В. А., Виноградов И. А. Комментарии. Т. 7. С. 546).

какое-то рыцарство сдружили их. Отвага в набегах, буйная забывчивость в веселье и беспечная лень в мире – это черты диких азиатцев – жителей Кавказа, которых невольно вспомните и теперь, глядя на малороссиянина в его костюме, с его привычками. ... Коренное племя получило совсем отличный характер, облагороженный и возвышенный Богданом Хмельницким»⁹⁹.

По мысли Гоголя, Степь и соответствующая свобода проявления евроазиатских начал формируют на Украине особый славянский характер, что отличается от великорусского своей «яркостью», энтузиазмом, воинственностью. Именно козаки как наследники древнерусского государства, заслонившего Европу от монголов, в свою очередь, спасают ее от нашествия «магометанского». Все это можно соотнести с историческими размышлениями Пушкина в наброске статьи «О ничтожестве литературы русской» (1834): «России определено было высокое назначение... Ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы: варвары не осмелились оставить у себя в тылу поработанную Русь... Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией (*Примечание*: А не Польшею, как еще недавно утверждали европ.<ейские> журналы: но Европа в отношении к России всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна)...»¹⁰⁰

Единство этих самоотверженных, «безбрачных, суровых... железных поборников веры Христовой» определяет религиозный «энтузиазм» (VIII, 46). Но, в отличие от средневековых католических рыцарей или исконных их врагов – мусульман, представителям воинствующего православия вообще чужд религиозный аскетизм: будучи «неукротимы, как их днепровские пороги», они не знают воздержания, обетов, постов... Это христианско-республиканское юношеское «братство... разбойничьих шаек», когда все «общее – вино, цехины, жилища», живет «азиатским буйным наслаждением» набега, а после него козаки впадают в «беспечность» языческих «неистовых пиршеств и бражничества» (VIII, 48). – Стоит напомнить, что «пьянство, излишество в пище и питии» христианство считает признаком языческого «распутства» (1-е Петра 4:3) и что в народной культуре порождения земли – золото и зелье («горелка», табак) – считаются бесовскими¹⁰¹.

Изображая жизнь козаков, Гоголь использует ассоциации с библейским Адамом (его имя означало «взятый из земли»): их укрытия – «землянки, пещеры и тайники в днепровских утесах»; козак кажется «страшилищем бегущему татарину»¹⁰², вылезая «внезапно из реки или болота, обвешанный тиной и грязью...» (VIII, 47–48). О том же говорят и прямые природные уподобления: «гнездо этих хищников», «неукротимы, как... пороги», «с быстротою тигра» – и скрытое сравнение с лесными «шайками медведей и диких кабанов». Такие же уподобления в статье «О движении народов в конце V века» характеризовали древних германцев: «Они жили и веселились одною войною. Они трепетали при звуке ее, как молодые, исполненные отваги тигры»; они тоже использовали «пещеры для первоначальных... жилищ или сохранения сокровищ» (VIII, 119, 120). Сопоставимы и вольнолюбие воинов, и неукротимость их в бою – наряду с беспечностью и «бесчувственной ленью» в домашней жизни, – и страсть к пиршествам.

При этом вольное христианско-республиканское «братство» козаков явно соотносится с древнерусской «вечевой республикой», а их «азиатские набеги» похожи и на половецкие, и на походы князей против половцев – как в «Слове о полку Игореве», оказывавшем с начала XIX в. значительное воздействие на русскую литературу¹⁰³. О древнерусской воинской пове-

⁹⁹ Малороссийские песни, изд. М. Максимовичем. С. IV–V.

¹⁰⁰ Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16 т. Л., 1949. Т. 11. С. 268.

¹⁰¹ Булашев Г. О. Цит. соч. С. 342–346, 379–391.

¹⁰² В черновой редакции автор сравнивал козака с «подземным гномом» – «духом земли» в европейской мифологии. О «земляном / земном» в творчестве Гоголя см. в интересной, хотя и небесспорной по методу исследования, работе: *Иванецкий А. И.* Гоголь. Морфология земли и власти. М., 2002.

¹⁰³ См.: *Прийма Ф. Я.* «Слово о полку Игореве» в русском историко-литературном процессе первой трети XIX века. Л.,

сти напоминает и фольклорная метафора в статье Гоголя («...земля эта... уважена костями, утучнена кровью». – VIII, 45). В «Слове о полку Игореве» Великая Степь представляла «землей незнаемой», неким запретно-чуждым пространством, о чьей опасности сама природа как бы предупреждала солнечным затмением и где стихийные силы губили нарушивших запрет. Столь же стихийно и решение князя Игоря достигнуть «земли незнаемой». Его поход, замышлявшийся как богатырский подвиг, предстает неразумным, во многом «слепым», ибо, возвышая героя, противопоставляет его другим князьями, нарушает договоры с половцами, в конечном итоге разрушает мир и согласие на Руси, угрожая целостности государства. Степь здесь – неведомое, чуждое, гибельное пространство стихий и одновременно простор, манящий испытать себя, свои силы, безоглядно освободить желания, дающий «волю» (уже тогда – явно – своеволие!), что обнажает богатство или пустоту души и тем отторгает личность от общества. Причем сам амбивалентный пространственный образ Степи (его можно назвать литературным *археотопонимом*) искони был ориентирован на Азию, на иноязычный, иноверческий, чудесно-демонический Восток. Можно заметить, как переосмысливаются традиционные черты этого образа в «Отрывке из Истории Малороссии».

Степное – вот главное для Гоголя в козачестве! Это стихийное, «евразийское», исходящее из противоположных начал, обычно непримиримых и в то же время генетически присутствующих европейцам. Ведь, как показано в статье «О движении народов...», фундамент новой, христианской Европы закладывает не только само противостояние почти оседлого земледельческого населения волнам варваров и азиатских кочевников из Великой степи – готов и гуннов, но и постоянная вынужденная ассимиляция и гуманизация варваров. По мысли Гоголя, эти тенденции позже действуют и на другом краю Европы, когда развитие азиатской языческой экспансии ведет к появлению противостоящего ей Козачества, сохраняющего традиции коренной европейской вольности и древней, природной «греческой религии» в то время, когда гибнет Византия (об этом см. ниже, на с. 152–153).

Соединяя европейское и азиатское, оседлое и кочевое, воинственное и мирное, земледельческое («саблю и плуг»), козаки противостояли, в первую очередь, «магометанству» и католичеству, роскоши, привитой арабами (мусульманами) европейской цивилизации. Так «составился народ, по вере и месту жительства принадлежавший Европе, но между тем по образу жизни, обычаям, костюму совершенно азиатский, – народ, в котором так странно столкнулись две противоположные части света, две разнохарактерные стихии: европейская осторожность и азиатская беспечность, простодушие и хитрость, сильная деятельность и величайшая лень и нега, стремление к развитию и усовершенствованию – и между тем желание казаться пренебрегающим всякое совершенствование» (VIII, 49).

Эту характеристику поясняют следующие положения статьи «Мысли о географии». Азия – это «колыбель... младенчество» человечества, «где все так велико и обширно, где люди так важны, так холодны с вида и вдруг кипят неукротимыми страстями: при детском уме своем думают, что они умнее всех; где всё гордость и рабство; где всё одевается и вооружается легко и свободно, всё наездничает; где турок рад просидеть целый век, поджав ноги и куря кальян свой, и где бедуин как вихорь мчится по пустыне; где вера переходит в фанатизм, и вся страна – страна вероисповеданий, разлившихся отсюда по всему миру», – а Европа, по этому «возрастному» взгляду, представляет полное развитие и «зрелость ума» человека. В 1-й редакции статьи было отчетливее: по «возрасту» и значению «первое место должна занимать Азия, как колыбель человечества; второе Африка, как жаркое юношество; третье Европа – зрелость и мужество; четвертое Америка» (VIII, 101).

1980. А. С. Пушкин знал и высоко ценил «Слово...» как «уединенный памятник в пустыне... древней словесности» (*Пушкин* А. С. Цит. соч. Т. 11. С. 268). Цитаты из «Слова...» М. А. Максимович в 1834 г. сделал эпиграфами к разделам нового сборника украинских народных песен.

Столкновение противоречивых начал (христианских и явно не христианских, по сути, демонических) как бы само собой порождает *чудесное*, связанное с Божьим Промыслом и «чудесными» средними веками¹⁰⁴, когда образуется козачество (его, как позднее скажет Гоголь, «вышибло из народной груди огниво бед». – II, 46), с апокалипсическим разрушением мира и столь же естественным противостоянием человека дьявольскому разрушению: козацкий городок, стертый татарами «до основания», «как будто чудом, строился вновь <...> Казалось, существование этого народа было вечно» (VIII, 48). *Чудесное* присуще и народному сознанию, в котором «простоудушно» смешались языческая «славянская мифология... с христианством», возвышенный религиозный энтузиазм и вполне «земная», языческая чувственность.

Еще одно противоречие – назовем его этическим – в отношении козаков к женщине и семье. Похищать «татарских жен и дочерей» себе в жены, как это делали «разгульные холостяки», явно не по-христиански (здесь вероятно влияние традиций «удалых выходцев» с «Кавказа», т. е. *черкесов*, которым «приписывают» основание Черкас, «где было главное сборище и местопребывание козаков...» – VIII, 47, 49). Далее, как сказано в статье «О малороссийских песнях», ни мать, ни жена, «ничто не в силах удержать» козака дома: «Упрямый, непреклонный, он спешит в степи, в вольницу товарищей» (VIII, 91). Поэтому есть две «половины жизни народа»: суровый ратный мир «гульливых рыцарей набегов» и «женский мир, нежный, тоскливый, дышащий любовью» (VIII, 91–92). Противоречие сохраняется, пока для козаков «узы этого братства... выше всего, сильнее любви» (VIII, 91), – ведь семья «уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. 19:6).

Таким образом, история козачества соединила старое и новое, восточное и западное, чудесное и обыденное, Божественное и дьявольское. Этому способствовали противоречивые историко-географические (в современном понимании – геополитические), а также экономические (отсутствие торговых связей, уничтожение труда земледельца) и этические факторы, религиозные идеалы. Но для Максимовича, Срезневского и Гоголя единственной **настоящей историей** козачества – «живой, говорящей, звучащей о прошедшем летописью», заключившей в себе «дух... изображаемого народа» (VIII, 91–92), – могут быть только народные песни.

В основание таких утверждений, очевидно, был положен тезис Гердера о том, что народные песни воплощают «дух нации»¹⁰⁵, а потому поэтическую историю народа невозможно создать без песен. В письме к М. А. Максимовичу от 9 ноября 1833 г. Гоголь восклицал: «Моя радость, жизнь моя, песни, как я вас люблю. Что все черствые летописи, в которых я теперь роюсь, пред этими звонкими, живыми летописями.

<...> Вы не можете представить, как мне помогают в истории песни. Даже не исторические, даже похабные: они все дают по новой черте в мою историю, все разоблачают яснее и яснее, увы, прошедшую жизнь и, увы, прошедших людей...» (X, 284). О возможности постигнуть Историю и «дух народа» по его песням Гоголь писал 6 марта 1834 г. И. И. Срезневскому: «Если бы наш край не имел такого богатства песен – я бы никогда не писал Истории его, потому что я не постигнул бы и не имел понятия о прошедшем, или История моя была бы совершенно не то, что я думаю с нею сделать теперь. Эти-то песни заставили меня с жадностью читать все летописи и лоскутки какого бы то ни было вздору» (X, 299).

В лекции «Библиография средних веков» (1834) Гоголь назвал среди источников издание «нескольких саг и эдд норманских, объясняющих начало северной истории» и добавил: «Сверх всех указанных источников <...> можно включить также создания поэтические, выражающие верно минувший быт народный: исторические баллады, народные песни, которыми особенно богата христианская Испания, Шотландия, народы славянские...» (IX, 104–105). В «Отчете

¹⁰⁴ В статье Гоголя «О средних веках» сказано, что в тот период «чудесное прорывается при каждом шаге и властвует везде...» (VIII, 24).

¹⁰⁵ Чудаков Г. И. Отношение творчества Н. В. Гоголя к западноевропейским литературам. Киев, 1908. С. 33–34.

по Санкт-Петербургскому учебному округу за 1835 год» сообщалось, что Гоголь готовит к печати работу «о духе и характере народной поэзии славянских народов: сербов, словенов, черногорцев, галичан, малороссиян, великороссиян и прочих»¹⁰⁶.

Итак, две статьи о Малороссии в Журнале Министерства Народного Просвещения, принадлежавшие, судя по фамилии, типичному малороссу¹⁰⁷, представляли читателям научно-поэтическую историю его народа. Правомерность такой концепции определяли и научные познания автора (разумное, логическое), и видимое художественное мастерство (чувственное, интуитивное), и врожденный, и жизненный, благоприобретенный опыт художника и ученого, чье духовное развитие соотносено с развитием его народа. И потом, когда Гоголь перепечатывает «Отрывок...» под названием «Взгляд на составление Малороссии» с датой «1832» в сборнике «Арабески» (1835) вместе со статьей «О малороссийских песнях» и заявляет о своем историческом романе, датируя его главы 1830 г., – он дает понять, что все его художественные и нехудожественные малороссийские произведения составляют, при всей разнородности, *единую* картину прошлого и настоящего народной жизни, а каждое из них – своего рода ступень поэтического постижения истории Малой России художником-ученым.

¹⁰⁶ Цит. по: *Машинский С. И.* Художественный мир Гоголя. С. 150.

¹⁰⁷ Латинская транслитерация фамилии Гоголь – Hohol (Хохол; ср., В. Скотт как представитель Шотландии).

Глава II. Малороссийский исторический роман: замысел, возможное целое и фрагменты

Созидание научно-поэтической истории Малороссии в 1832–1834 гг. вело к повторной, более глубокой проработке Гоголем украинской тематики: повестям будущего цикла «Миргород», историческим статьям и фрагментам, потом включенным в сборник «Арабески». Поэтическая интерпретация накопленного исторического материала дала простор творческой фантазии, порождая художественные образы, снимавшей хронологические и пространственные ограничения, связывавшей прошлое с настоящим. Все это, в конечном итоге, обусловило затем отказ от достаточно жесткой структуры научно-поэтического труда ради создания художественно-образного «живого урока» современникам (в идеале – театрального), основой которого становились разнообразные и разновременные исторические сведения, актуальные для автора и читателей.

Идея художественной обработки исторического материала занимала Гоголя, по-видимому, до осени 1835 г. (так, подзаголовок цикла «Миргород» 1835 г. – «Повести, служащие продолжением “Вечеров на хуторе близь Диканьки”» – подразумевал, в свою очередь, и дальнейшее *продолжение* поэтической истории народа). Затем этот процесс соединения творческих и научных трудов, который автор считал тогда перспективным и отнюдь не завершенным, приведет к разработке «объемлющих всю Россию», историософских, по сути, религиозно-исторических сюжетов «Ревизора» и «Мертвых душ»¹⁰⁸. Однако еще не было отмечено, что на рубеже 1833–1834 гг. Гоголь как бы возвратился к началу творческого пути, когда он писал исторический роман...

¹⁰⁸ Об этом см.: *Золотусский И. П.* Гоголь. М., 1979. (ЖЗЛ). С. 240, 258.

§ 1. «Глава из исторического романа»

Под таким названием этот фрагмент появился в альманахе «Северные Цветы на 1831 год»¹⁰⁹, причем стандартный заголовок повторил название, данное в «Северных Цветах на 1829 год» главе романа А. С. Пушкина о царском арапе. Материалы альманаха, собранные в сентябре-октябре 1830 г., были отданы в цензуру 15 ноября. Эта дата, как и зависимость «Главы...» от вышедшего в конце 1829 г. романа М. Н. Загоскина «Юрий Милославский», позволяет ограничить время ее создания февралем – октябрем 1830 г., когда перед Польским восстанием резко обострились российско-польские отношения. Затем, посылая матери 21 августа 1831 г. альманах «Северные Цветы», Гоголь указал иное время работы над «Главой...» и явно вымышленные обстоятельства ее появления в печати: «Книжка вам будет приятна, потому что в ней вы найдете мою статью, которую я писал, бывши еще в нежинской Гимназии. Как она попала сюда, я никак не могу понять. Издатели говорят, что они давно ее получили при письме от неизвестного и если бы прежде знали, что моя, то не поместили бы, не спросивши наперед меня, и потому я прошу вас не объявлять ее моею никому; сохраняйте ее для себя. Приятно похвастать чем-нибудь совершенным; но тем, что носит на себе печать младенческого несовершенства, не совсем приятно. Она подписана четырьмя нулями: 0000» (X, 205).

П. А. Кулиш, со слов В. П. Гаевского, объяснил подпись как четыре **о** в имени и двойной фамилии автора: Николай Гоголь-Яновский¹¹⁰. Но буквенные псевдонимы обычно обоснованы инициалами автора, а потому можно полагать, что так Гоголь мистифицировал читателей, намекая на известного литератора Ореста Михайловича Сомова (1793–1833), уроженца Слободской Украины, выпускника Харьковского университета, поэта, переводчика, критика, автора малороссийских повестей, с которым Гоголь мог познакомиться и через своего однокашника В. Любича-Романовича, и через П. П. Свинына. Именно Сомову как фактическому редактору «Северных Цветов» и «Литературной Газеты» Гоголь, видимо, был обязан этой и последующими публикациями¹¹¹.

С историческими произведениями О. М. Сомова: незаконченной повестью «Гайдамак» и «Отрывком из малороссийской повести»¹¹² – «Главу...» сближает и ориентация на живую народную речь сказов, преданий, и употребление экзотизмов, соответствующих времени и месту действия, и способ их пояснения, и сочетание весьма условного, широкого исторического фона с отдельными точными хронологическими деталями... Согласно такому «вальтер-скоттовскому» принципу изображения, История – основа народных легенд и поверий – определяет внешний вид персонажей, их речь, поступки, характерные особенности жизни и быта. Это позволяет объединить в повествовании разные, зачастую противоречивые, взгляды, детали, литературные и фольклорные мотивы, совместить народное мировосприятие и точку зрения современного читателю художника-ученого.

Значительное воздействие на «Главу...» оказал первый русский исторический роман М. Н. Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829). Исследователи давно уже подметили сходство ситуации в гоголевском фрагменте и начале романа, когда посланец поляков встречается с козаком. Однако встреча героя с загадочным незнакомцем, их беседа-разведка и, наконец, внезапное открытие (признание), проливающее свет на события, объясняя характер и поступки незнакомца, – распространенный сюжетный ход в романах В. Скотта

¹⁰⁹ Северные цветы на 1831 год. СПб., 1831 (ценз. разреш. от 18 декабря 1830 г.). С. 226–256.

¹¹⁰ Кулиш П. А. Записки о жизни Гоголя. С. 88–89.

¹¹¹ Гиттис В. В. Гоголь // В. Гиттис. Гоголь; В. Зеньковский. Н. В. Гоголь / предисл. и сост. Л. Аллена. СПб., 1994. С. 28, 37.

¹¹² Невский альманах на 1827 год. СПб., 1826. С. 242–286; Северные Цветы на 1828 год. СПб., 1827. С. 227–300.

(например, «Айвенго», 1820)¹¹³, зависимость от которых Загоскин не скрывал. К тем же типичным ситуациям восходит и его повествование о разбойничьем гнезде боярина Шалонского на месте разоренной монашеской обители в Муромском лесу, об отступничестве боярина от веры и связях с поляками, описание страшных преступлений, творившихся с его ведома, рассказ о том, как разбойники хотели повесить на сосне запорожского козака Киришу, о Божьей каре захватчикам, преступникам, изменникам. Различимы в «Главе...» и мотивы «готического» романа (на них основывался сам В. Скотт), исторически преобразованные соответственно времени и месту действия: лес, где блуждает герой; развалины в лесу (с ними обычно была связана легенда о проклятии, смерти, возмездии); меняющееся освещение природы и человеческого лица как игра светотени; разрушение природных объектов и человека, а также плодов его труда под воздействием времени. Эти же мотивы будут общими для «Главы...» и «готического» фрагмента «Пленник» (об этом см. ниже, на с. 63).

К приметам «готического» романа следует отнести и вставную легенду о страшном грешнике. Но здесь в роли «проклятого или крестного дерева» апокрифов выступает не яблоня или осина, а северная сосна-мумия, причем ее изображение подобно описанию «проклятого дерева» в романтической повести В. Ирвинга «Легенда о Сонной Лощине» (в рус. пер.: «Безголовый мертвец»): «Перед ним среди дороги возвышался огромный тюльпан, как исполин превосходивший огромностию все окрестные деревья, точный маяк гибели и ужаса <...> Это дерево ознаменовано было несчастною смертью майора Андре... народ смотрел на него с почтением и с робостью, вспоминая и горестный жребий человека, которого носил он имя, и странные явления, как известно было всем, вокруг его происходящие»¹¹⁴. А крона сосны после казни дьякона напоминает «бороду», отличавшую православное духовенство (в украинском фольклоре – и «москаля» / «кацапа»). Все это, если соотнести с повествованием Загоскина, позволяло читателю видеть в легенде намек на неудачу возможного польского нашествия (здесь – на Левобережную Украину: «...все шляхетство... в гости»), как это уже было в России, тем более что действие, согласно топонимическим указаниям автора, происходит на Полтавщине, у границы Слободской Украины, тогда – части Русского государства, где бежавшие от панского гнета козаки жили слободами.

«Смутное время» действия в «Главе...» уточняется несколькими хронологическими деталями. Имя *Казимир*, упомянутое шляхтичем Лапчинским, по-видимому, принадлежит Яну II *Казимиру* Ваза (1609–1672), королю Речи Посполитой в 1648–1668 гг. Это позволило исследователям датировать действие концом 1650-х гг., после смерти Хмельницкого, когда король пытался наладить отношения с Правобережной Украиной¹¹⁵. Однако, на наш взгляд, Гоголь связал «посольство от Казимира» с эпизодом в начале второй части «Истории Малой России». Там рассказывалось, как еще при жизни Хмельницкого, после Переяславской рады (надо полагать, это и были «события, волновавшие Варшаву»), в 1654 г. Ян II Казимир хотел заставить козаков «отложиться» от России. Король поручил гетману Ст. Потоцкому уговорить «славного храбростью» полковника Ивана Богуна, который еще не присягал русскому царю, «отказаться от Хмельницкого, присоединиться к польским войскам», и выступавший посредником «литвин Павел Олекшич... обещал ему (полковнику. – В. Д.) ...именем Казимира: *Гетманство Запорожское, шляхетство и любое староство в Украине. – Верный чести Богун препроводил письмо... к Хмельницкому...*» (ИМП. Ч. 2. С. 2; курсив автора).

¹¹³ Рус. перевод: Ивангое, или Возвращение из крестовых походов. Соч. Валтера Скотта. СПб., 1826. Ч. I–IV.

¹¹⁴ Безголовый мертвец. Повесть Ирвина Вашингтона // Московский Телеграф. 1826. Ч. 9. С. 176–177. Ранее ту же повесть Гоголь использовал как основу для создания «Двух глав из малороссийской повести “Страшный кабан”» (Лит. Газета. 1831. № 1, 17).

¹¹⁵ *Каманин И. М.* Научные и литературные произведения Гоголя по истории Малороссии // Памяти Гоголя: Научно-литературный сборник, изданный Историческим обществом Нестора-летописца. Киев, 1902. С. 98–99.

И поскольку «посольство от Казимира» было темой «Главы...» (правда, истинная цель визита – предварительно узнать настроения полковника Глечика как потенциального союзника поляков), то действие можно отнести к 1650-м гг. Соответствует этому и звание «полковника Миргородского полку»: полк был заново сформирован в 1648 г. на волне освободительного движения. Такое время действия подтверждается легендой о пане – «воеводе ли... сотнике ли», который жил в этих местах «лет за пятьдесят перед тем», – то есть в начале XVII в., когда, после отказа большинства простых малороссиян принять Брестскую унию 1596 г., на Украину были введены польские войска, в городах поставлены гарнизоны.

Сама же легенда об ужасном грешнике и его раскаянии восходит к вариантам апокрифов о «крестном дереве» и кающемся великом грешнике-разбойнике, апокрифично и представление о вечно зеленой, по благословию Божию, сосне¹¹⁶. Эти мотивы значительно преобразованы и включают черты других малороссийских поверий, которые затем – тоже трансформированные – будут представлены в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Так, появление пана-дьявола в красном жупане предваряет легенду о красной свитке в повести «Сорочинская ярмарка». Весть о том, что пан раскаялся, обратился к православной вере и принял схиму, соотносится с ложным раскаянием колдуна из повести «Страшная месть» и с его клятвой стать схимником; причем после убийства настоящего схимника, который отказался молиться за «великого грешника», путь колдуна не зависит от его воли – так же, как путь пана и его дворни после убийства дьякона.

Фамилия Лапчинского, вероятнее всего, крестьянская и восходит к «лаптям» (это может указывать на принадлежность героя к «ополяченной» части козацкой верхушки, хотя возможна и смысловая связь с выражением «гусь лапчатый», имевшим негативное значение «вкрадчивый, скрытный, хитро-осторожный»). Саму фамилию Гоголь не выдумывал, а позаимствовал «из более позднего времени: Лапчинский был послом от Подольского воеводства к воеводам Шереметеву и Ромодановскому в 1706 г.»¹¹⁷. И мирное прозвище козацкого полковника тоже крестьянское: на Украине глечиком называли «небольшой кувшин или горшок»¹¹⁸. А вот польское имя Казимир/Казимеж двусмысленно (кто «указывает», объявляет мир, – т. е. *миротворец*, и тот, кто *нарушает* покой/мир). Козаки хорошо помнили, что король Ян Казимир в XIV в. сделал дворянами «всех верных и храбрых малороссиян», служивших ему, а при заключении Зборовского трактата 1649 г. поляками (от лица Яна II Казимира) и козаками Хмельницкого дворянское достоинство получили «многие из Козаков, оказавших на войне важные услуги»¹¹⁹. Но также они не забывали, как Ян II Казимир организовал карательный поход поляков за Днепр и после Переяславской рады при каждом удобном случае старался подкупить козацкую старшину, чтобы использовать в своих целях. Недаром рядом с Казимиром возникает имя Бригитты – чужеродное, типично западноевропейское¹²⁰. Этим именам в конце «Главы...» будут противопоставлены русские православные имена детей Глечика: *Карп*, *Маруся* (Мария) и *Федот* (от греч. Феодот – «данный Богом») – это русский вариант имени Хмельницкого *Богдан*.

История **создания семьи** – основы народа (или, наоборот, ее «несложения», распада, например, в «Вечере накануне Ивана Купалы») как типичный сюжет романа и повести того времени отодвинута в «Главе из исторического романа» на второй план. Три поколения: теща – близкая «жертва могилы», Глечик и его жена-«старуха», их дети – показаны как естественная и достаточно устойчивая козацкая семья, хотя тестя уже нет, а два старших сына погибли

¹¹⁶ См. об этом: *Сумцов Н. Ф.* Очерки истории южнорусских апокрифических сказаний и песен. Киев, 1888. С. 151.

¹¹⁷ *Каманин И. М.* Цит. соч. С. 99.

¹¹⁸ Там же. С. 100.

¹¹⁹ *Маркович Яков.* Записки о Малороссии... С. 36–37.

¹²⁰ При этом вряд ли учитывалось действительное значение имени Бригитта (от *Celebrated Bridget*, ирландская святая VI в.) – синонимичное «решительной силе» и «святости».

(они «поженились на чужой стороне»), младший же сын из-за отлучек Глечика не признает его «батькой». Но главное – эта семья представляет *украинскую часть* славянского мира. В доме Глечика всегда на столе в знак гостеприимства «ржаной хлеб и соль»¹²¹, на стене мирно соседствуют военные и хозяйственные орудия, а женщины вполне самостоятельны. Сами козаки независимы, близки к природе, у них живой ум, разнообразные таланты. Хозяева земли, лесов и степей ведут мирную, оседлую жизнь на хуторах, типичных для Украины¹²², верны своей природной греческой вере и потому – в отличие от поляков! – сохранили многие черты и традиции **древних славян**: они миролюбивы, гостеприимны, бескорыстны, терпеливы, наблюдательны, самоотверженны, чадолюбивы... У них большие семьи, где с младенчества прививают бранный дух, ненависть к насилию «ляхов»¹²³, где женщины привыкли хозяйствовать одни и ничего не бояться, но авторитет хозяина Дома, воина-защитника, остается непререкаем.

Впрочем, в «Главе...» обрисовка одного из тех, кто живет на уединенном лесном хуторе, достаточно противоречива: полковника Глечика до конца фрагмента должна скрывать от себе-седника-поляка (и недалеких читателей) маска плутоватого словоохотливого крестьянина. Поэтому в повествовании как бы два плана. Первый – восприятие посланца поляков, который переделся козацким десятником и со страхом видит во встречном обыкновенного вооруженного, по обычаю того времени, «дужего пожилого селянина», хотя и с «огнем» в глазах. А всеведущий автор – художник и историк сразу замечает *Козацкое*:

– «седые, закрученные вниз, усы... резкие мускулы... азиатскую беспечность» на «смуглом... лице», «то хитрость, то простодушие» в «огне» глаз героя;

– «черную козацкую шапку с синим верхом», сняв которую герой покажет «кисть волос» на макушке – знаменитый козацкий оселедец;

– его умение понять, кто перед ним (по одежде, поведению, по нарушению принятого этикета встречи, но вернее всего по разговору, может быть, по акценту), а затем использовать это в своих целях. Значимо и «рыцарское» сравнение тулупа с «латами от холода» (III, 312).

Так внимательный читатель получает представление о вероятной незаурядности героя-козака, и это далее подтверждает его талант искусного и миролюбивого рассказчика (по сути, художника). Поэтому рассказчик иногда столь близок повествователю, что голоса их перекликаются или даже сливаются...

Характеристика козаков как разбойников-кочевников и язычников – общее место в европейском искусстве того времени¹²⁴. Так, роман Загоскина, где запорожец Кирша был по происхождению русским и в целом положительным героем, хотя и разбойником, английский переводчик дополнил от себя, помимо прочего, описаниями зверств запорожцев и цивилизованного гуманизма поляков¹²⁵. Напротив, в «Главе...» и поведение, и речь героя-козака, и его жилище (без «трофеев» – в отличие от светлицы у Бульбы) создают впечатление мирной крестьянской, вовсе не воинственной жизни. Об этом как бы случайно и простодушно говорит Глечик: «...козаки наши немного было перетрусили: кто-то пронес слух, что все шляхетство собирается к нам... в гости» (III, 312). И хотя испуганному шляхтичу собеседник, идущий рядом и курящий *козацкую люльку*, в темноте видится «упырем», лесное убежище Глечика

¹²¹ Об этой традиции древних славян Гоголь упоминал в своей гимназической работе по русской истории (IX, 15) – опираясь на сведения «Истории Государства Российского» (Т. 1. Гл. 3) и, видимо, зная, насколько жива подобная традиция среди простых малороссиян.

¹²² Об этом см.: *Сенько И. М.* Смысл названия цикла повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки» // *Література та культура Полісся*. Вип. 7. Ніжин, 1996. С. 8–9.

¹²³ Ср. современное Гоголю утверждение, что «малороссы» испытывают «ненависть к великороссиянам <...> Они перебивают чувство сие в самых малюток и пугают их *москалями*. При сем имени устрашенное дитя перестает кричать» (*Левшин А.* Письма из Малороссии. С. 72–73; курсив автора).

¹²⁴ Например, в усыпальнице короля Яна II Казимира Ваза (церковь Сен-Жермен де Пре, Париж) барельеф работы Ж. Тибо изображает короля во главе рыцарей, дающих отпор злобной, коварной, трусливой шайке козаков и татар.

¹²⁵ *Альтшуллер М. Г.* Эпоха Вальтера Скотта в России. С. 83.

в дальнейшем оказывается вполне зажиточным «имением», где на стене рядом висят «серп, сабля, ружье... секира, турецкий пистолет, еще ружье... коса и коротенькая нагайка» (III, 319), а ульи во дворе дополняют картину *оседлой* жизни малороссиян XVII в. (она мало чем отличалась от жизни украинских крестьян во времена Гоголя и от описания жизни русской деревни XVII в. в романе Загоскина).

И наоборот: бесчеловечными, нечестивыми, демоническими показаны действия поляков. Их бесчинства, преступления, пренебрежение народными обычаями, православной верой – и Божья кара за это ярко изображены в легенде, восходящей к апокрифам о «крестном дереве», о раскаянии «великого грешника-разбойника». Но легенда многозначительна – это и народное истолкование прошлого, актуальное для героев (Лапчинский чувствует страх), и часть авторского повествования, а *чуждое* оказывается одинаково важным для обоих героев и для автора – современного историка и художника, хотя и не может быть истолковано однозначно: есть пан, который покался и принял православие, став схимником, и он же – нераскаянный пан-дьявол «в красном жупане»¹²⁶.

Атмосферу малороссийского «смутного» времени, переходного от средневекового к Новому, передают и взаимные презрительные оценки обеих сторон конфликта¹²⁷, легенды, взаимоотношения типичных героев: безымянных козака и шляхтича, пана-католика и православного дьякона. Здесь селянину-полковнику, с его умом и талантом, миролюбием и гостеприимством (хотя и небесхитростным), всей его семье оказывается противопоставлен одинокий пришлец из Варшавы, в чужом платье пробирающийся по чужой земле, которому пославшие его не слишком, видно, доверяют. И потому на последнего так воздействует легенда о злодействах «великого пана» и Божьей каре за это. Знаменательно, что читатель видит основные моменты происходящего «через» восприятие этого героя, вызывающего определенное сочувствие, а прием, оказанный ему, по существу, напоминает встречу селянами заблудившегося на охоте пана или паныча. О козаке же нам предоставлено судить лишь по его облику, речи, поступкам, искусно рассказанной легенде, обстановке в его доме. Такие отношения и открытость сознания посланца поляков свидетельствуют об отсутствии антагонизма между ним и козаком, хотя оба сохраняют взаимную, вполне объяснимую настороженность. Кроме того, миролюбие шляхтича объясняется и страхом, и стремлением скрыть свое истинное лицо, и миссией к потенциальному союзнику, тогда как настроение козака определяется не только пониманием того, кто перед ним, но и осознанием своей правоты и полного морального превосходства над вруном-поляком.

Повествование о полковнике-селянине Глечике, бесподобном рассказчике, обнаруживает и некую биографическую основу. Дед и отец Гоголя тоже слыли великолепными рассказчиками. Но главное – род Гоголей-Яновских, согласно их Дворянской грамоте, вел свое начало от сподвижника Хмельницкого, Подольско-Могилевского полковника Евстафия (Остапа) Гоголя, которому вроде бы пожаловал поместье король Ян II Казимир¹²⁸. «История Русов» называла Евстафия Гоголя гетманом (ИР, 176, 180). Вероятно, создавая образ Глечика, автор и опирался на какие-то семейные предания, и соответствующим образом трансформировал их, в частности поселив героев (а среди них – надо понимать – и будущего гетмана) на

¹²⁶ Ср. легенду о «красной свитке» чёрта из повести «Сорочинская ярмарка» (1831). В повести «Страшная месть» (1832) колдун «в красном жупане» идет ночью в свой замок, появляется с поляками и под видом названного брата пана Данилы (I, 256, 257, 274), а козаки обычно – «в синих и желтых жупанах» (I, 254). Видимо, цветовая символика здесь восходит к польскому национальному стягу красного цвета с белым орлом. Но, в отличие от колдуна, пан Данила изображен в «кармазинном жупане» из ярко-алого сукна (I, 246).

¹²⁷ «...начальник какой-то шайки... полковник миргородского полку...» – украинцы не терпели «всего, что... носило название ляха или принадлежало ляхам...» (III, 311, 312).

¹²⁸ *Мани Ю. В.* «Сквозь видный миру смех...» С. 15–16. Подробнее о гетмане Евстафии (Остапе) Гоголе, который был, как утверждают некоторые современные исследователи, возможным прототипом Тараса Бульбы, речь пойдет в конце главы.

Полтавщину¹²⁹. Упомянутые в «Главе...» города Пирятин и Лубны, река и город Лохвица были хорошо знакомы Гоголю по дороге из родительской Васильевки в Нежин. Первую свою публикацию в № 1 «Литературной Газеты» за 1831 г. Гоголь подписал *П. Глечик*. И характерно, что именно на рубеже 1830–1831 гг. – ко времени Польского восстания, вероятного знакомства с «Историей Русов» и появления «Главы...» – Гоголь навсегда отбросил от своей фамилии «польскую прибавку» Яновский¹³⁰.

¹²⁹ Ср.: Там же. С. 16–19.

¹³⁰ Там же. С. 19.

§ 2. Вторая «глава» романа

Перепечатавая «Главу из исторического романа» в сборнике «Арабески» (1835), Гоголь сделал примечание: «Из романа под заглавием “Гетьман”; первая часть его была написана и сожжена, потому что сам автор не был ею доволен; две главы, напечатанные в периодических изданиях, помещаются в этом собрании»¹³¹. Таково единственное упоминание о романе и связи с ним «Главы из исторического романа» и «Пленника. Отрывка из романа», одинаково датированных в сборнике «1830» – временем публикации первых русских исторических романов «Юрий Милославский» М. Н. Загоскина и «Димитрий Самозванец» Ф. В. Булгарина.

Впервые являясь читателю под своим именем в сборнике «Арабески», Гоголь, по-видимому, хотел заявить, что это он еще до «Вечеров на хуторе близ Диканьки» создал первый исторический малороссийский (как следовало из названия) роман, который соответствовал и литературным тенденциям того времени, и ожиданиям читателей. На этом фоне обращает на себя внимание сознательный отказ автора от формы «вымышленного» романического повествования («потому что... не был ею доволен») и уничтожение огнем всего несовершенного – в пользу «достоверности» повестей «Вечеров» и научно-художественного осмысления в «Арабесках» прошлого и особенно настоящего автором – художником и ученым.

Смысл названия отвергнутого исторического романа был понятен всем знавшим, что украинских гетманов до 1708 г. выбирали «из рыцарства вольными голосами» (*ИР*, 7). Это подразумевало и типичность, и какую-то исключительность главного героя, избранного козаками своим предводителем. А территориальный принцип войскового устройства, которое создал Стефан Баторий (по другим сведениям – князь Е. Ружинский или Д. Вишневецкий, – см.: *ИР*, 15–16) и согласно которому «Украина разделилась на 10 полков (каждый со своим городом), полки делились на сотни (каждая со своим местечком...), а сотни на курени (со слободами, селами и хуторами)»¹³², обуславливал взаимосвязь судьбы гетмана с исторической судьбой нации, наделяя его не только военной, но и гражданской властью. Н. Маркевич отмечал, что «Гетман тот же Roi, Круль и Rex... царь, избранный народом... Гетманство тоже правление монархическое избирательное», и считал такими гетманами Наливайко, Сагайдачного, Хмельницкого, Павла Полуботка и Мазепу¹³³. Конечно, образованный читатель того времени вполне отчетливо представлял ряд гетманов, вплоть до последнего – К. Г. Разумовского, расставшегося с гетманской булавой в 1764 г., когда Екатерина II упразднила автономию *Гетманщины* на Левобережной Украине и само *гетманство*.

А для общественного сознания были тогда (и остались до сих пор!) актуальны два украинских гетмана, противопоставляемых официальной историей. Это спаситель отечества Богдан Хмельницкий (в народном понимании – избавитель, данный Богом, наделенный от Него властью, воссоединивший две части православного народа) и демонический изменник Мазепа, отчужденный от Бога, народа и власти своим клятвопреступлением. Образы гетманов запечатлели эпические произведения того времени: поэма Байрона «Мазепа» (1818), роман Ф. Глинки «Зиновий Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия» (1817, опубл. 1819), думы К. Рылеева «Богдан Хмельницкий» (1822) и «Пётр Великий в Острогжске» (1823), его же поэма «Войнаровский» (1825), знаменитая пушкинская «Полтава» (1828), поэма «Мазепа» (1829) В. Гюго, анонимно изданная поэма «Богдан Хмельницкий» (1833; подробнее о ней см. на с. 124), романы П. Голоты «Иван Мазепа» (1832) и «Хмельниц-

¹³¹ Арабески. Разные сочинения *Н. Гоголя*. СПб., 1835. Ч. I. С. 41.

¹³² Украинские народные песни, изд. Максимовичем. Ч. 1. Кн. I–II. С. 4.

¹³³ Украинские мелодии. Соч. Ник. Маркевича. С. 121.

кие» (1834), роман Ф. Булгарина «Мазепа» (1833–1834)¹³⁴. Причем главного героя этих произведений характеризовала соответствующая любовная коллизия – *созидательная* для его семьи или, наоборот, как в поэме «Полтава», *разрушительная*. И, воспроизводя заглавие романа, Гоголь просто не мог этого не учитывать. Но представленные им две главы исторического романа «Гетьман» не соответствовали ожиданиям читателя «Арабесок» хотя бы потому, что здесь, на первый взгляд, ни о каком *гетмане* речь не шла, и не было даже намека на любовную коллизию. Да и само единственное упоминание о романе «Гетьман» и его судьбе читатель лишь мог принимать на веру: ведь «Глава...» и отрывок «Пленник» оказывались абсолютно различны как по сюжету, так и по стилю.

Изначально полный текст фрагмента под названием «Кровавый бандурист. Глава из романа», с подписью «Гоголь» и датой «1832», предполагал напечатать журнал «Библиотека для Чтения» (1834. Т. II. Отд. I «Русская словесность». С. 221–232), среди будущих авторов которого были объявлены Пушкин и Гоголь. И пушкинская повесть «Пиковая дама» была напечатана в том же разделе, а против гоголевской публикации (видимо, под влиянием О. И. Сенковского) выступил редактор журнала Н. И. Греч. Его позицию поддержал и цензор А. В. Никитенко, запретивший печатать эту «картину страданий и унижения человеческого, написанную совершенно в духе новейшей французской школы, отвратительную, возбуждающую не сострадание и даже не ужас эстетический, а просто омерзение»¹³⁵.

Однако же, судя по тому, что в *первоначальном* плане сборника «Арабески» фигурирует название «Кровавый бандурист»¹³⁶, Гоголь до июня 1834 г. не оставлял надежды опубликовать всю «главу из романа», а потом отказался от ее кровавого финала и соответственно переименовал заглавие на «Пленник». Поэтому дата «1830» под отрывком в «Арабесках», вероятно, поставлена лишь для согласования с «Главой из исторического романа». Неясно, был ли «Пленник» самостоятельным художественным целым, или главой одноименного романа, или какой-то частью романа «Гетьман», как утверждалось в примечании (ведь здесь – так же, как в «Главе из исторического романа», – речи о каком-либо гетмане вроде бы не идет). Весьма проблематично и заявленное Гоголем в примечании *единство* «Главы...» и «Пленника»: несмотря на одну и ту же дату создания и единое место действия – под Лубнами на Полтавщине, между ними **нет** никаких отчетливых сюжетных и вообще смысловых связей.

И если действие в «Главе...» относится ко временам Хмельниччины (1650-м гг.), то датой «1543 год» в «Пленнике» обозначено время, когда украинцы не знали ни гетманов, ни иезуитов. Предводителей козаков стали называть гетманами после Люблинской унии 1569 г., объединившей Великое княжество Литовское – с Малороссией в его составе – и Польское королевство в единое государство Речь Посполиту, куда иезуиты проникли в 1564 г. Именно они, обосновавшись в Польше со времен Батория, по словам Булгарина, завели потом Унию «для ниспровержения Восточной церкви»¹³⁷.

Сложнее вопрос о времени основания «рейстровых» (реестровых) коронных войск (см. об этом: *Казарин*, 66–67). Авторитетные источники, известные Гоголю, указывали, что эти войска были созданы в 1572 г. королем Сигизмундом II Августом (1520–1572, коронован в 1530) из украинских козаков, принятых на военную службу польским правительством и внесенных в особый список-реестр – в отличие от нереестровых козаков, которых оно официально не признавало. Однако в «Истории Русов» (а ей тогда больше доверяли и Гоголь, и Пушкин)

¹³⁴ Предисловие к роману «Мазепа» заканчивалось так: «Облеченный в звание Гетмана, или предводителя освобожденного народа, Хмельницкий, признавая власть Русского Царя, управлял Малороссию и Украину как независимый владетель на основании дарованных им прав и пребыл верен России» (Мазепа. Соч. Фаддея Булгарина. Ч. 1. С. 4).

¹³⁵ Литературный музей. Петроград, 1921. Т. 1. С. 352; см. об этом: Лит. наследство. Т. 58. С. 545–546.

¹³⁶ Разные бумаги Гоголя, спасенные М. П. Погодиным от сожжения (из собрания П. Я. Дашкова). – ОР ИРЛИ (Пушкинского Дома) РАН. Ф. 652. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 53.

¹³⁷ *Дмитрий Самозванец*. Ч. 3. С. 14.

эта заслуга приписана князю Е. Ружинскому, который в начале XVI в. «по изволению короля Сигизмунда Первого <...> учредил в Малороссии двадцать непрременных козацких полков»; они наполнялись «выбранными из куреней и околиц шляхетских молодыми Козаками, записанными в реестр военный до положенного на выслугу срока, и от того названы они реестровыми Козаками» (ИР, 15–16).

Итак, отрывки *одного* романа, помещенные в *разных* частях сборника, не только принципиально *различны* по стилю, но и отделены по времени действия почти на столетие! Можно предположить, что возможной причиной столь явного *анахронизма* была авторская установка несколько «смягчить» тенденциозность «Кровавого бандуриста»¹³⁸, предназначенного для журнала поляка Сенковского, но в то же время акцентировать внимание на *извечном* конфликте козачества с Польшей и Литвой, о чем упоминала ИМР (Ч. 1. С. 151–169, 197–227). И то и другое отчасти подтверждается изображением предводителя отряда – серба с теми же «неизмеримыми усами», какими в других исторических произведениях Гоголя наделен только *польский* военный. Это означает, что «Остржаницей» в тексте с куда большим правом, чем гетман Острица, на которого обычно указывают исследователи¹³⁹, мог именоваться уроженец г. Острога («остржанин», пол. «остржаница») гетман Наливайко. Он возглавил первое выступление козаков против унии в 1594–1596 гг., но потерпел поражение от поляков «при Лубнах, на урочище Солонице» (поблизости от места действия во фрагменте) и был замучен в Варшаве¹⁴⁰ в 1597 г. (Летопись, 1011; ИМР. Ч. 1. С. 176). По некоторым источникам, почти там же, под городком Лукомлем, в 1638 г. было разбито войско Острицы. Вероятно, соединив в «Острицу» прозвища двух гетманов, известных злосчастной судьбой, автор так назвал трагического героя, чей образ соответствует стилю повествования. Это затем подтверждается в повести «Тарас Бульба», где *тип героя-гетмана* вновь раздвоится на два трагических образа: Наливайко («...гетман, зажаренный в медном быке... лежит еще в Варшаве». – II, 309) и Острицы («...голова гетмана вздернута была на кол вместе со многими сановниками». – II, 352). А явный *анахронизм* во фрагменте показывает, что изображение трагического, «рыцарского» и нерыцарского, чудесно-ужасного, живого «земного» и мертвого «подземного» здесь обусловлено авторским пониманием этого периода истории Украины как времени **мифологически-средневекового**, когда в кровавом неустройстве страны, в столкновении вольности и насилия, народного и чужеземного, духовного и телесного отражается противоборство Божественного и дьявольского – как это было в средние века в Европе.

Такая «средневековость» действия предопределила *готический* стиль изображения. И несмотря на то, что «Пленник» по стилю действительно во многом напоминает произведения «неистой словесности»¹⁴¹, думается, что Гоголь использовал поэтику ее прямого «готического» предшественника, мотивы которого различимы в «Главе из исторического романа». Об этом свидетельствуют переключки с готическим романом М. Г. Льюиса «Монах» (1796), где описывались мрачные монастырские катакомбы, откуда слышны странные звуки, похожие на стоны погребенных заживо¹⁴². Там за нарушение монашеского обета заточена сестра

¹³⁸ Далее мы будем называть «Кровавым бандуристом» и весь прежний фрагмент, и его отделенное из-за цензуры окончание.

¹³⁹ См., например: Воронаев В. А., Виноградов И. А. Комментарии. Т. 7. С. 528.

¹⁴⁰ Упомянутый способ казни Наливайко: «в медном быке», под которым разводят огонь, – наводит на мысль о мифологизации этих сведений. Древнегреческое предание говорит о медном быке, сооруженном по заказу сицилийского тирана Фаларида. Бык был полым, с дверцей на спине между лопаток, куда бросали жертву, затем под быком разводили огонь, жертва погибала, а ее вопли, доносившиеся из ноздрей быка, к удовольствию тирана, напоминали мычание. Так же «в медном быке» казнили и св. Евстафия.

¹⁴¹ Виноградов В. В. Поэтика русской литературы: Избр. труды. М., 1976. С. 91–94.

¹⁴² <Льюис М. Г.> Монах, или Пагубные следствия пылких страстей. Сочинение славной г. Радклиф [sic!]: в 4 ч. СПб., 1802–1803. Ч. 3. С. 88–101. Среди подписавшихся на издание первым указан Д. П. Трошинский, и эта книга, видимо, была в его библиотеке в Кишинях.

Агнесса, чью одежду составляет «одна епанча»; ужас девушки вызывают темнота, «зловредный и густой воздух... пронзительный хлад», «холодная ящерица... отвратительная жаба, изрыгающая черный яд»; Агнессу спасают, услышав стоны в пустой пещере¹⁴³. Можно заметить, как преобразуются эти мотивы у Гоголя: праведный настоятель православного монастыря считает своих незваных гостей «дьяволами», девушку-воина бросают в мрачное монастырское подземелье-кладбище, и она борется с дьявольским искушением предательства, обращаясь к Богу. Насильственное разоблачение ее, когда взорам мучителей предстают чудные волосы, «очаровательная белизна лица, бледного, как мрамор, бархат бровей, обмершие губы и девственные обнаженные груди», а потом «снежные руки» (III, 307, 309), напоминает постепенное саморазоблачение Матильды перед аскетом Гиларием; так же были поражены и полицейские, когда они схватили мнимого монаха и сняли с него одежду. В романе был описан и «окровавленный призрак» монашки Беатрикссы, жертвы преступной страсти¹⁴⁴. Подобные готические мотивы были представлены в популярных тогда романах В. Гюго «Собор Парижской Богоматери», Ч. Р. Метьюрина «Мельмот-Скиталец» и – значительно трансформированные – в других знаменитых произведениях «неистовой словесности» (подробнее см.: *ПССУП*. Т. 3. С. 934–935). На этом фоне «кровавый бандурист» представляется мучеником за православную веру (так, по легенде, казнили апостола Варфоломея), и появление кровавого «фантома», вероятно, должно предостеречь Ганну от предательства. Он мог возникнуть и потому, что бандурист стал жертвой насилия, и потому, что героиня после смерти жениха или мужа нестерпимо одинока и жаждет мести.

В «Кровавом бандуристе» есть и другие литературные реминисценции. Основной мотив – девушки или жены-воина – характерен для средневекового эпоса и позднейших подражаний ему. Так, среди персонажей рыцарской поэмы Ариосто «Неистовый Орланд» (1516), как бы венчающей героическую эпическую Средневековья, есть девы-рыцари Марфиза и Брадаманта. Переводивший «древние поэмы Оссиана» (на самом деле это была стилизация Макферсона) Е. Костров, «предупреждая» читателя о нравах древних каледонцев (шотландцев), замечает, что «супруга, любящая с нежностью своего Героя, следовала иногда за ним на войну, преобразясь в ратника. Такие превращения часто встречаются в поэмах нашего Барда...»¹⁴⁵. В балладе В. Скотта «Владыка огня» (1801) жена рыцаря-отступника, принявшего ислам, переодевается в пажа, чтобы увидеть мужа, и погибает на поединке с ним. Наконец, образ *девушки – узницы подземелья* был характерен для немецкого рыцарского романа, откуда перешел в роман готический.

Впрочем, средневековые приметы «черного» (готического) романа: ужасные тайны, подземелья, кровавые призраки, сцены насилия, загадочно-демонические незнакомцы – были использованы в исторических романах и повестях, переключки с которыми тоже весьма значимы для фрагмента. Так, его начало соотносится с началом последней главы в повести О. М. Сомова «Гайдамак» (1826): отряд козаков везет связанного по рукам и ногам разбойника-гайдамака Гаркушу. В романе М. Н. Загоскина «Юрий Милославский» (1829) героя заточили в таком же «мрачном четырехугольном подземелье» разрушенной церкви. А ситуация, когда в захваченном воине опознают женщину, уже была фактически травестирована Гоголем в повести «Майская ночь» (1831): один неопознанный пленник брошен в темную комору, другой – в темную хату для колодников, в том и в другом случае вместо ожидаемого «демона» перед Головой и его отрядом возникает... «свояченица» (идентичны при этом и «побранки» узников: собачьи дети – чертовы дети, польское «псяюха» = шельма)¹⁴⁶. Образ «закипевшего кровью»

¹⁴³ Там же. Ч. 4. С. 117, 129, 131, 197.

¹⁴⁴ Там же. Ч. 2. С. 171.

¹⁴⁵ <Макферсон Дж.> Оссиан, сын Фингалов, бард третьего века: Гальские стихотворения / переведено с фр. Е. Костровым. 2-е изд. СПб., 1818. Ч. 1. С. XLIII.

¹⁴⁶ Так обнаруживается, что противостояние сельского головы и парубков – это продолжение давнего конфликта грубой,

призрака находит соответствие не только в «неистой словесности», на что неоднократно указывали исследователи, но и в козацких летописях¹⁴⁷ и той части легенды в «Главе...», где пану «чудится»: из ветвей сосны «каплет человечья кровь», она «вся посинела, как мертвец, и страшно кивает ему черною, всклокоченною бороною» (III, 316).

Само заглавие «Пленник» (тем паче «Кровавый бандурист»!), если сравнить с нейтральным «Глава из...», уже подразумевает конфликт. Его определяет та же атмосфера **насилия**, что в легенде из «Главы...». Ночью в украинский городок входит отряд «рейстровых коронных войск», появление которого обычно «служило предвестием буйства и грабительства», но на этот раз «к удивлению... жителей» внимание солдат приковывал пленник «в самом странном наряде, какой когда-либо налагало насилие на человека: он был весь с ног до головы увязан ружьями... (так поступали с пойманными на охоте дикими зверями. – В. Д.) Пушечный лафет был укреплен на спине его. Конь едва ступал под ним. ...толстый канат... прирастил его к седлу» (III, 301). Даже «месяц» не мог бы разглядеть «капли кровавого пота» на лице «несчастливого пленника», потому что «оно было заковано в железную решетку», а солдаты отгоняют любопытных, показывая «угрожающий кулак или саблю» (III, 301–302). **Насилие** проявляется и по отношению к служителям православной церкви: воевода стреляет в церковное окно, бранится и богохульствует, угрожает расправой (ср. в легенде: глумление над дьяконом и его казнь). Запрещенный цензурой финал отрывка добавлял натуралистическую картину пыток и кровавый образ казненного бандуриста.

Таким образом, в «Пленнике» – как в легенде из «Главы...» – конфликтующие стороны открыто противостоят друг другу. Неправедную оккупационную власть, основанную на силе оружия, представляют польские солдаты и наемники, которые одновременно и презирают, и боятся козаков, видят в них дикарей, почти животных (примерно таков смысл вопроса воеводы: «...чего они так быстры на ноги, собачьи дети?» – III, 307). Жертвами насилия выступают все остальные персонажи, особенно пленник. Не зная об ужасном финале, читатель фрагмента мог лишь предположить, что пленник не мужчина, по его «слабому стенанию», ужасу и обмороку...

Но воины, способные наслаждаться «муками слабого», тем более девушки, за чьи «снежные руки... сотни рыцарей переломали <бы> копья» (III, 309), не могут быть рыцарями! Демоническое в них обусловлено и «смешением пограничных наций». Так, в роли готического злодея здесь выступает начальник польского отряда – «родом серб, буйно искоренивший из себя все человеческое в венгерских попойках и грабительствах, по костюму и несколько по языку поляк, по жадности к золоту жид, по расточительности его козак, по железному равнодушию дьявол» (III, 304). А настоящим Рыцарем, несмотря на свои слабости, предстает пленница в доспехах и шлеме с забралом – своеобразный андрогин, олицетворяющий сопротивление Малороссии насилию захватчиков. Ведь если женщина, вопреки традициям и собственной природе, берется за оружие – значит, исчерпаны другие возможности сопротивления, переполнилась чаша народного гнева!

Именно этому соответствует художественное (а не хронологическое) время действия в отрывке. Ведь для читателя, хотя бы отчасти знакомого с историей Малороссии, упоминание о «рейстровых коронных войсках» делает очевидной некорректность датировки «1543 год», которая нарушает и принятое в «Вечерах» и 1-й редакции «Тараса Бульбы» **ограничение** гоголевского повествования серединой **1570-х гг.** Тогда легендарный козацкий предводитель Иван Подкова (Серпяга) несколько месяцев владел молдавским престолом (конец 1577 – начало 1578 г.), за что и был казнен по приказу Ст. Батория. Это начало его правления –

применяющей насилие власти и козацкой вольности, но уже в смягченном, примитивном, явно пародийном варианте конфликта.

¹⁴⁷ Паламарчук П. Примечания // Н. В. Гоголь. Арабески. М., 1990. С. 420.

польского «короля Степана» (1576), образовавшего регулярное козацкое войско. Религиозная же война, показанная в отрывке, началась в конце XVI в., после Брестской унии **1596 г.**, когда простые украинцы оказали ожесточенное сопротивление польско-католической экспансии, в то время как многие знатные люди, в том числе из козацкой старшины, унию приняли.

Отмеченные в гоголевском фрагменте реминисценции, переключки, сходство ситуаций с литературными и фольклорными произведениями расширяют панораму повествования, вовлекая в него дополнительные планы, чье пересечение и образует «сверхсмысл». Но единственно схожим со всем «Кровавым бандуристом» по тематике, стилю и датировке гоголевским произведением следует признать повесть «Страшная месть» (1832), где мир прошлого с приметами XVI–XVII вв. тоже воссоздавался на готической основе, включавшей народные предания, поверья, песни, апокрифы. Чудесное, невероятное – по законам жанра – здесь тоже представало как демонически ужасное (например, появление колдуна на свадьбе). А сама жизнь отступника от козацкого мира становилась символом противоестественного, почти животного (сродни волчьему), нехристианского существования. Наоборот, в «Кровавом бандуристе» ужасные муки героев-страдальцев, по-христиански пренебрегающих «телесным», символизируют искупительную жертву во имя национальной независимости. Соответственно этому изображены жители «страны, терпевшей кровавые жатвы», а также храм и его настоятель, монастырские катакомбы как «иной мир» – разрушительный для тела и спасительный для души.

По замыслу автора, и повесть, и фрагмент изображали народное прошлое в готическом стиле. Однако – в отличие от «Страшной мести» – готические черты «Кровавого бандуриста» не были уравновешены собственно фольклорным материалом, хотя литературно-фольклорные параллели основных мотивов очевидны: поспание христианских канонов и кара за это, подземный мир смерти, девушка-воин, бандурист. Эту «литературность», сближающую фрагмент с «Главой из исторического романа» и повестью «Вечер накануне Ивана Купала», написанными в 1830 г., следует рассматривать как характерную особенность ранних гоголевских произведений. Опираясь на известные тогда литературно-фольклорные параллели, используя типичные литературные шаблоны, автор ограниченно вводит фольклорный материал, которым, видимо, в то время еще недостаточно владел, или подвергает его значительной литературной переработке.

Все это позволяет полагать, что в 1831–1832 гг., создавая повести для второй книжки «Вечеров на хуторе близ Диканьки», Гоголь писал некую большую историческую («готическую») вещь, намек на которую, по мнению исследователей, есть в предисловии ко 2-й части «Вечеров», где Рудой Панек заявлял: «...для сказки моей нужно, по крайней мере, три такие книжки» (I, 713). Работа над этим произведением возобновилась летом 1833 г. (см. об этом ниже, на с. 162). А когда возникла необходимость дать что-то новое в журнал «Библиотека для Чтения», Гоголь обработал один из ярких набросков этой вещи, назвав его «Кровавым бандуристом». Позднее он переработал отрывок в «Пленника», чтобы включить вместе с «Главой...» в разнородную структуру сборника как **две главы одного** исторического романа. Поэтому заявленный в примечании к ним **отказ от всего** романа, на наш взгляд, говорит о том, что автор в итоге предпочел *современную* «синтетическую» научно-художественную форму «Арабесок» (а не противопоставлял роман и еще не опубликованную повесть «Тарас Бульба», как считал В. А. Зарецкий¹⁴⁸), где *малороссийское* оказывалось заведомо меньше *всемирного* как его часть. Видимо, потому отрывкам романа и «Взгляду на составление Малороссии» (как отрывку ее истории) в сборнике предпосланы примечания, что все эти *арабески*, входя в принципиально неполный «малороссийский» контекст, дают лишь представление о контурах

¹⁴⁸ Зарецкий В. А. Народные исторические предания в творчестве Н. В. Гоголя: История и биографии: Монография. Стерлитамак; Екатеринбург, 1999. С. 322–323.

и жанре возможного **целого** – многопланового исторического повествования об одном или нескольких украинских гетманах.

§ 3. Историческая повесть: особенности конфликта, Герой «от Бога» и другие типы героев

Но было ли Гоголем в каком-то виде создано подобное историческое повествование о гетмане? – Этот вопрос остается открытым. Парадокс в том, что «недостающие» читателю «Арабесок» основные элементы сюжетной схемы заявленного исторического романа о гетмане (в том числе – обязательная любовная коллизия) восполняются в большом рукописном отрывке, найденном после смерти писателя в его бумагах. Уже при первой публикации этого текста, написанного «на отдельных листках самым неразборчивым почерком», издатели полагали, что он «принадлежит к самым молодым произведениям нашего автора и писан может быть еще до появления “Вечеров на хуторе близ Диканьки”, но в нем... проглядывает то художественное представление страны и характеров, которое с такою полнотою развилось в *Тарасе Бульбе* и других... произведениях»¹⁴⁹. По наблюдениям исследователей, полулисты с текстом были вырезаны из Записной книги *РМ*¹⁵⁰. В их копии, сделанной П. Кулишом, зафиксировано лишь несколько гоголевских исправлений и приписок¹⁵¹, а позднее Н. С. Тихонравов обратил внимание на принадлежность к тому же тексту и скопированных Кулишом отдельных черновых вариантов¹⁵². Очевидные нестыковки – например, вариативность имен и характеристик героев – на наш взгляд, свидетельствуют о том, что здесь впервые были сведены для работы какие-то предварительные наброски (о чем и пойдет речь далее).

В гоголеведении этот текст стали считать непосредственным началом романа «Гетьман» (III, 711–716) и соединять с фрагментами того же романа, каковыми, согласно утверждению Гоголя в «Арабесках», были «Глава из исторического романа» и «Пленник». Не отрицая связи рукописи с замыслом «Гетьмана», мы полагаем, что объявлять ее началом такого романа нет оснований, если «первая часть его была написана и сожжена», а принадлежность к нему обеих напечатанных «глав» и сюжетное их (и смысловое) единство, как было показано выше, сомнительны. Поскольку намеченные в рукописи главки явно меньше, чем у обычного романа того времени, и в них кратко упомянуты события, предшествовавшие действию, это может быть жанр *романтической повести*: совокупности эпизодов, важнейших для жизни героя (хотя масштаб и детали изображаемого, а соответственно и жанр на этом этапе работы вряд ли были тогда ясны самому Гоголю). Следовательно, более точным рабочим названием этого произведения, на наш взгляд, будет «Главы исторической повести».

Видеть в них начало романа «Гетьман» исследователям позволяет фамилия (прозвище) главного героя – исторически достоверного гетмана Острицы «из козаков» (*Летопись*, 14). По «Истории Русов», нежинский полковник Степан Острица в 1638 г. был избран гетманом нереестровых козаков и возглавил восстание на Запорожье против польской и украинской шляхты. Он показал себя искусным полководцем, очистив приднепровские города от поляков и наголову разбив польские войска у реки Старицы. Гетман Лянцкоронский позорно бежал, но был обложен козаками в местечке Полонном, и только посредничество русского духовенства спасло ему жизнь. Подписав трактат о вечном мире с поляками, Острица поверил их клятвам и распустил свое войско, а сам с частью войскового чина заехал помолиться в Канев-

¹⁴⁹ Сочинения Гоголя: В 6 т. М., 1856. Т. 5. С. IV, 411.

¹⁵⁰ Автограф расположен на пяти полулистах, вырезанных из записной книги *РМ*, где в черновом тексте «Портрета» между с. 172–173 остались корешки, точно совпадающие с этими пятью вырезанными страницами (Сочинения Н. В. Гоголя. 10-е изд. М., 1891. Т. V. С. 549; см. об этом также: *Чарушикова М. В.* Фрагмент незавершенного романа Н. В. Гоголя «Гетьман» // *Записки Отдела рукописей ГБЛ*. Вып. 37. М., 1976. С. 185–208).

¹⁵¹ РО ИРЛИ (Пушкинского Дома) РАН. Ф. 652. Оп. 2. Ед. хр. 71.

¹⁵² Сочинения Н. В. Гоголя. 10-е изд. М., 1889. Т. IV. С. 549–551.

ский монастырь, где и был предательски захвачен поляками, отправлен в Варшаву и там после пыток казнен вместе с 37 соратниками (*ИР*, 53–56). В повести «Тарас Бульба» Гоголь повторяет эту версию: «Немного времени спустя, после вероломного поступка под Каневым, голова гетмана вздернута была на кол вместе со многими сановниками» (II, 352). По другим источникам, Острица (или Яков / Яцко Искра-Острианин) был убит в 1641 г. во время выступлений против козацкой старшины на Слободской Украине, куда он увел часть войска после поражения в Жовнинской битве¹⁵³.

Гоголь **не мог не знать** имени и обстоятельств жизни нежинского полковника хотя бы потому, что опирался на «Историю Русов» [III, 714–715]. Значит, в <Главах...> фамилия Острицы использована для *условного* обозначения персонажа, на что указывает и его *переименование*. Украинское имя Тарас (церк. Тарасий, от греч. tarassō – волновать, возбуждать, приводить в смятение, тревожить) имело значение «бунтовщик, мятежник»¹⁵⁴ и напоминало о гетмане Тарасе Федорбиче (Трясыло), под руководством которого в 1630 г. была одержана победа над поляками в ночном сражении, оставшемся в народной памяти как «Тарасова ночь»¹⁵⁵. Можно полагать, что на этого легендарного могучего (буквально «трехсильного») героя вначале и ориентировалось приуроченное к «1625-му году»¹⁵⁶ повествование о герое страннике или – как он сам говорит о себе – «странной судьбы». Обрабатывая текст, Гоголь изменил дату на «1645» – и приблизил время действия к началу Хмельнитчины в 1648 г. При этом следы двойной хронологии в тексте сохранились. Так, Острица и Пудько вроде бы говорят о турецком походе 1640 г., но упоминание о «Сиваче» (Сиваше) подразумевает знаменитую «битву при Соленом озере» в походе 1620 г.

Сочетание имени и фамилии героев-гетманов вкупе с обозначением времени, предшествующего народно-освободительному восстанию, должны создать у читателя представление о **типе** героя. Его сближение с гетманом, который, по выражению Максимовича, «облагородил и возвысил» национальный характер¹⁵⁷, вполне закономерно для исторических произведений той эпохи, нередко использовавших фольклорную традицию изображения легендарных героев (в нашем случае она обозначена переименованием *Зиновия* в *Богдана*). Обозначение славного «времени Хмельницкого» Гоголь использовал сначала в журнальном варианте повести «Вечер накануне Ивана Купала» (1830), где основное время действия было маркировано «малолетством Богдана», а затем в повести «Страшная месть» (1832): бандурист «повел про прежнюю гетьманщину, за Сагайдачного и Хмельницкого», когда «иное было время: Козачество было в славе; топтало конями неприятелей, и никто не смел посмеяться над ним» (I, 279)¹⁵⁸. Гоголь, безусловно, знал и «Песнь о Богдане Хмельницком» – переложенную на польский язык Л. Рогальским народную украинскую песню о гетмане – затем вновь переведенную с польского, точнее, пересказанную О. М. Сомовым¹⁵⁹, и стихотворение своего однокашника В. И. Любича-Романовича «Сказание о Хмельницком»¹⁶⁰.

¹⁵³ Воронаев В. А., Виноградов И. А. Комментарии. Т. 7. С. 528–529.

¹⁵⁴ Справочник личных имен народов РСФСР. М., 1987. С. 524.

¹⁵⁵ По другим сведениям, в 1628 г. малороссийские козаки избрали себе в гетманы некого *Тараса* из простых козаков, а потом «битву учинили с поляками и победили их множество» (*Летопись*, 13). Поэтому контаминацию образов Федорбича и Острицы в гоголевском тексте можно объяснить и сведениями, что Острица в 1638 г. – через 10 лет! – тоже был избран в гетманы из простых козаков (*Летопись*, 14).

¹⁵⁶ РО ИРЛИ. Ф. 652. Оп. 2. Ед. хр. 71. Л. 3.

¹⁵⁷ Малороссийские песни, изд. М. Максимовичем. С. V.

¹⁵⁸ Здесь Гоголь явно опирался на символику свадебной песни, которую в 1829 г. записал в «Книгу всякой всячины», а затем использовал как эпиграф в повести «Сорочинская ярмарка»: «Не бойся, матинко, не бойся, / В червонные чобитки обуйся, / Топчи вороги / Пид ноги; / Щоб твои подкивки / Брязчаль! / Щоб твои вороги / Мовчаль!» (I, 133).

¹⁵⁹ Благонамеренный. 1821. № 7; подзаголовок: «Из малороссийской песни».

¹⁶⁰ Сын Отечества и Северный Архив. 1829. № 41.

Особенно интересно, что начало <Глав исторической повести> перекликается с произведениями К. Ф. Рыльева – самого известного тогда поэта- историка Малороссии. После успеха поэмы «Войнаровский» (1824–1825) он работал над поэмами и драматическими произведениями о религиозной и национально-освободительной борьбе на Украине в XVI–XVII вв.¹⁶¹ В центре конфликта здесь оказывался харизматический герой, наделенный властью «от Бога» за то, что живет чаяниями своего народа, чувствует и выражает его волю и готов пожертвовать собой для общего блага. И хотя у такого вождя были характерные черты легендарных украинских гетманов (Наливайко, Палея, Мазепы), следовало понимать, что прообраз каждого из них один – спаситель народа Богдан Хмельницкий, а главные события так или иначе напоминают Хмельнитчину 1648–1654 гг. Например, действие поэмы о восстании Наливайко 1594 г. разворачивается в Чигирине (возле него расположено Субботово – вотчина Хмельницких), там происходит расправа со старостой ляхом (как известно, «чигиринский подстароста Чаплицкий» был их врагом), а герой в черновике один раз прямо назван Хмельницким. И хотя, по утверждению С. А. Фомичева, «имя Хмельницкого... здесь легло под перо Рыльева по ошибке», исследователь вынужден признать, что «не случайно Наливайко в поэме Рыльева наделяется отчасти чертами биографии Хмельницкого...»¹⁶².

Фольклорная основа поэм тоже опиралась на мотивы народных дум о Хмельницком, тогда как образ народного вождя (Хмельницкого, Наливайко, Палея) формировался в творческом сознании Рыльева под воздействием поэмы Байрона «Мазепа». Возможно, поэтому, в отличие от народного избавителя, заступника, мудрого полководца, каким предстает гетман в думах, у Рыльева герой-одиночка был изображен трагически отчужденным от общества из-за своей высокой миссии: его живая «страсть к свободе» оказывалась сильнее животного инстинкта самосохранения, свойственного большинству, он знал, что обречен, но понимал свою смерть как условие свободы Отечества, как неизбежную жертву на ее алтарь. Недаром будущие декабристы ощущали это пророчеством, грозным предсказанием судьбы¹⁶³.

Понятно, что малороссийские произведения Рыльева на Украине обрели огромную популярность (на нее влияла и трагическая судьба автора), потому Гоголь вряд ли мог их не знать. Свидетельством тому представляется определенная близость к ним некоторых описаний и ситуаций в повести «Тарас Бульба» (так, ее финал – чудесное спасение козаков в Днестре – напоминает эпизод поэмы Рыльева «Палей», где, окруженный «несметными толпами» поляков, герой находил спасение в Днепре). А высказанное Рылевым намерение «объехать разные места Малороссии... чтобы дать историческую правдоподобность своему сочинению»¹⁶⁴ Гоголь фактически повторяет, желая «осмотреть многие места, где происходили некоторые события»¹⁶⁵ для создаваемой в начале 1830-х гг. «Истории Малороссии».

Поэтому, видимо, не случайно сюжетная схема первой из <Глав исторической повести> Гоголя во многом напоминает план поэмы Рыльева «Наливайко» (1824) в пунктах «Сельская картина. Нравы малороссиян <...> Евреи. Поляки. Притеснения и жестокости поляков»¹⁶⁶. И есть все основания полагать, что гоголевский замысел включал изображение козацкого восстания. Но еще ближе первая из <Глав...> к прологу исторической трагедии «Богдан Хмельницкий», который Рылеев читал публично в середине ноября 1825 г., – это последнее, что он завершил на воле¹⁶⁷.

¹⁶¹ См.: Рылеев, 1971. С. 29–34, 438–443.

¹⁶² Рылеев К. Ф. Сочинения / сост., вступ. ст., ком. С. А. Фомичева. Л., 1987. С. 370.

¹⁶³ Рылеев, 1971. С. 31.

¹⁶⁴ Там же. С. 33.

¹⁶⁵ Цит. по: Машинский С. И. Художественный мир Гоголя. С. 150.

¹⁶⁶ Рылеев, 1971. С. 439.

¹⁶⁷ Там же. С. 442.

Как показывает анализ, в основу этих произведений Рылеева и Гоголя одинаково положены сведения «Истории Русов» о том, как после козацко-крестьянских восстаний из-за Брестской унии на Украину были введены регулярные войска, поляками же «церкви не соглашавшихся на Унию прихожан отданы жидам в аренду и положена за всякую в них отплату денежная плата...»¹⁶⁸. Молвой и народной памятью незаконные «откупы» были гиперболизированы и затем обобщены в исторических песнях-думах и малороссийской драме образами «рандарей», которые не только церкви – шляхи, реки, людей, «хрестьянску кровь... орендуют»¹⁶⁹.

Итак, в произведениях Рылеева и Гоголя действие начинается у церкви (центра каждого православного поселения), причиной конфликта выступает противоречие между естественными потребностями православных и не знающей предела корыстью и подлостью арендатора Янкеля (весьма схожего с будущим гоголевским героем), который для защиты от народа обращается к военным, а дальнейшее развитие конфликта приводит к насилию, обостряя до предела отношения противоборствующих сторон. У Рылеева разноголосое движение от просьб и обращений – к негодованию и открытому протесту козаков и крестьян образует «народно-исторический» фон для появления героя, выражающего их нужды и чаянья, так же, как они, страдающего от несправедливости, насилия, преступлений захватчиков-поработителей. Очевидно, у Гоголя этот конфликт еще больше обостряется – завязкой действия, приуроченного к Светлому Воскресению, – впрочем, тоже вслед за Рылеевым, который в отрывках поэмы «Наливайко» («Полярная звезда» 1825 г.) сравнивал страдания малороссиян с муками Страстной недели и противопоставлял этому весеннее пробуждение природы. Тот же мотив звучит в «Главах...» – и слитность изображенной толпы, ее инстинктивные (природные) действия, и резкое возвышение над ней Героя «от Бога» (о чем речь впереди) говорят о том, что Гоголь в подобной ситуации использовал прежнюю романтическую концепцию «Героя и толпы» у Рылеева, – ведь о прологе к трагедии «Богдан Хмельницкий» начинающий автор мог знать лишь в пересказе (скорее всего, О. Сомова, близко знавшего поэта и посвященного в его творческие планы). Рылеевым упомянута и «Тарасовская ночь в Переславле», повторения которой смертельно боятся арендаторы¹⁷⁰. Именно это событие предстает прологом Хмельниччины, а вождь народного восстания должен был стать прообразом Богдана (как у Гоголя).

В литературе того времени Хмельницкий изображался неоднозначно и неоднократно¹⁷¹. Иные аллюзии так гиперболизировали противоречия этого образа, что делали недостоверными и фигуру, и поступки героя (возможно, потому в 1835 г. была запрещена к постановке драма «Богдан Хмельницкий»¹⁷²). Вот как представлял автор трех «исторических» романов П. И. Голота обычное поведение гетмана: «Высокие думы рисовались на его челе... с необыкновенной живостью пробежал он огненными глазами... письма и то улыбался, то принимал на себя важный вид и в то время залпом выпивал по несколько чарок горелки, стоявшей перед ним, от чего, по-видимому, наполнялся опять вдохновения, отваги и решимости»¹⁷³.

В патриотической поэме «Богдан Хмельницкий» (1833), анонимно изданной в Петербурге и, можно полагать, известной Гоголю, главный герой впервые являлся «В одежде крымца не простого, / По виду ляха молодого, / И по словам... – / Украинца»¹⁷⁴. То есть герой в костюме

¹⁶⁸ *ИР*, 40; об этом см.: Там же. С. 52, 56; *ИМП*. Ч. 1. С. 178, 203, 217; Описание Украины. С. 141; *Барабаш Ю. Я.* Почва и судьба. С. 134–136; *Вишegradов И. А.* Комментарий // *Н. В. Гоголь*. Тарас Бульба. Автографы, прижизненные издания. Историко-лит. и текстологический коммент. М., 2009. С. 634–637.

¹⁶⁹ См., например: Записки о Южной Руси / Издал П. Кулиш. СПб., 1856. Т. 1. С. 56–58; *Розов В. А.* Традиционные типы малорусского театра XVII–XVIII вв. и юношеские повести Н. В. Гоголя. С. 107–108, 130–132.

¹⁷⁰ *Рылеев*, 1971. С. 251.

¹⁷¹ См. об этом в работе: *Марченко Т. М.* Образ Богдана Хмельницкого в литературе русского романтизма. Донецк, 2009.

¹⁷² *Барон Дризен Н. В.* Драматическая цензура двух эпох. 1825–1881. <СПб.>, 1916. С. 64.

¹⁷³ Хмельницкие, или Присоединение Малороссии. Исторический роман XVII в. Соч. Петра Голоты. М., 1834. Ч. III. С. 72.

¹⁷⁴ Богдан Хмельницкий: Поэма в шести песнях. СПб., 1833. С. 3. Любовно-авантюжная коллизия здесь значительно усложнена по сравнению с думой Рылеева, а счастливая развязка отнесена ко времени, когда народно-освободительное движение

знатного крымского татарина выглядел поляком, но говорил по-украински. Возвратившись в родные места, он получал весть о смерти отца и *тотчас* пытался отомстить за нее виновнику – старосте Чаплицкому, но *вдруг* обнаруживал необъяснимую доверчивость и позволял схватить себя (так же, как в финале романа Ф. Глинки). А когда он в заточении ожидал казни, его *вдруг* спасала полячка – дочь антагониста (опять – как в финале того же романа¹⁷⁵).

В думе Рылеева героя спасала сама «младая жена» Чаплицкого: она «связь с тираном разорвала» и, потрясенная «мученьем и вместе мужеством» героя, принесла ему освобождение, меч и... себя¹⁷⁶). По романтическому стереотипу, освобожденный пленник должен был без промедления (сразу же!) ответить своему спасителю таким же пламенным чувством. И действительно, герой думы, не задумываясь, обменивал настоящие оковы на узы супружества со своей впервые увиденной спасительницей – и получал «внешнюю» свободу и возможность действовать: «Жена Чаплицкого приносит Тебе с рукой свободу в дар <...> Будь мой!» – «Я твой!» – «Прими свой меч!»¹⁷⁷ И хотя о героине больше не упоминалось, сделанный ей выбор означал признание высочайших моральных качеств Героя, его правоты, справедливости его притязаний и естественного, «от Бога», права властвовать другими. Мало того, данная коллизия в целом обосновывала и патриотические, и личные мотивы его мести тирану:

А ты, пришлец иноплеменный,
Тиран родной страны моей,
Мучитель мой ожесточенный,
Чаплицкий! трепещи, злодей!
За кровь пролитую, за слезы
И жен, и старцев, и сирот,
За все – и за сии железы
Тебя мое отмщенье ждет¹⁷⁸.

После чего Герой фактически утверждался в роли народного вождя, вокруг которого «как моря волны, Рои толпятся козаков»¹⁷⁹. Эти «волны» и «рои» означают стихийно образовавшуюся, динамично-хаотическую массу козаков – «разнонаправленную», «слепую», без руководства. И потому действия возглавившего ее Героя от «Бога» предстают действиями всего войска:

Преследуя, как ангел мщенья,
Герой везде врагов сражал,
И трупы их без погребенья
Волкам в добычу разметал!..¹⁸⁰

Вероятно, такими же представлял Гоголь отношения козацкой массы и Тараса Острицы, который в <Главах исторической повести> соединяет имя и стать одного гетмана с фамилией (прозвищем) другого. При описании того, как в Светлое Воскресение все козаки пришли в церковь, автор употребляет, по сути, те же сравнения: «...как рои пчел, толпились козаки...»

уже победило. О возможном авторстве Ф. Н. Глинки см. ниже, на с. 123.

¹⁷⁵ В этом Глинка следовал *ИР*, тогда как, согласно всем другим источникам, освободить героя из темницы помогала *жена* Чаплицкого (*Жаркевич Н. М.* Творчество Ф. Н. Глинки в истории русско-украинских литературных связей. Киев, 1981. С. 99).

¹⁷⁶ *Рылеев*, 1971. С. 158.

¹⁷⁷ Там же.

¹⁷⁸ Там же. С. 157.

¹⁷⁹ Там же. С. 158.

¹⁸⁰ Там же. С. 159.

и «... море голов, почти не волновавшееся» (III, 277). И далее в изображении молящихся козачков совмещаются динамика и статика (по словам автора, это «картина великого художника, вся полная движения, жизни, действия и между тем неподвижная»), а духовное единство собравшихся подчеркнуто одинаковой реакцией: «... на лице каждого выходявшего дрогнули скулы <...> После перемены в лице, рука каждого невольно опустилась к кинжалу или к пистолетам <...> все спокойно вошли в церковь <...> На всех лицах просияла радость...» – и, наконец, после окрика Героя – «Послушно все, как овцы, разбрелись по своим местам...» (III, 278–279).

Мотивы появления оружия и вооруженного конфликта (насилия) в церкви, не соответствующие христианской религии, динамика и статика присутствующих, а также возможное отражение этого художником на картине представлены в романе В. Скотта «Ламермурская невеста» (1819). Во время заупокойной службы по лорду Рэвенсвуду в церкви появился «полицейский чиновник с вооруженными людьми» и потребовал прекратить обряд. В ответ сын покойного обнажил свою саблю, угрожая приставу, и тут же «пред глазами» того заблистали «сотни саблей <...> Это явление <было> достойно кисти художника. Под сводами жилища смерти священник, уstraшенный зрелищем, коего он был свидетелем, и беспокоясь о собственной безопасности, читал скоро и без сердечного участия торжественные молитвы своей церкви. Вокруг него в молчании <замерли> родственники умершего; более раздраженные, нежели опечаленные, и их поднятые сабли разительно противоречили их печальной одежде»¹⁸¹.

В <Главах исторической повести> Острианица появляется среди вооруженных молящихся «почти незаметно», но сразу же привлекает внимание, возвышаясь «над другими целою головою», выделяясь «каким-то крепким, смелым окладом» своего лица, которое «было спокойно и вместе так живо», что способно «было все заговорить конвульсиями», – и «все мало-помалу начали обращаться на него» (III, 278). Затем он как бы растворяется среди «массы... народа... лиц...», чтобы, вновь возникнув из «толпы» или хаотической «кучи», остановить ее волнение «одним своим мощным взглядом» да окриком: его «взгляд и голос... как будто имели волшебство: так были повелительны» (III, 278–279). И акцентированное автором таким образом, физическое и духовное превосходство Героя над другими должно стать свидетельством его власти над людьми «от Бога».

Но и обладая такой харизматичностью, Тарас Острианица не уверен ни в собственной правоте, ни в избранной цели. На то есть основания... После долгого вынужденного отсутствия он возвратился на родину в разгар конфликта Речи Посполитой и украинского козачества. И те, кто узнал Героя (Пудько, Галя-Ганна), уверены, что он вернулся для борьбы с поляками. Однако, как признается себе Тарас, его привела сюда «не правда, и месть, и жажда искупить себе славу силой и кровью... Все вы, все вы, черные брови!» (III, 297). Отсюда мучительное противоречие между чувством и долгом в сознании Героя, который, по наблюдению исследователей, «более рыцарь, как неоднократно называет его Гоголь, чем настоящий козак»¹⁸². Хотя он привел запорожцев, пообещав им какое-то «предприятие», но теперь, когда возлюбленная согласна уехать с ним, готов нарушить данное запорожцам слово. Для него – как потом для Андрия Бульбы – личное чувство оказывается выше патриотического долга, хотя в душе он осуждает себя за ту власть, которую позволил взять над собой любви, непозволительную для козака. К тому же любовь к невесте была причиной его невольного промедления в бою с поляками, из-за чего козаки были разбиты.

Подобное противоречие свойственно и Гале-Ганне, которая готова пожертвовать чувством к Тарасу ради благополучия своей матери. Это двойное женское имя Гоголь использовал в трех произведениях, включая «Майскую ночь» (и никогда и нигде больше!). В списке

¹⁸¹ Невеста Ламмермурская. Новые сказки моего хозяина, собранные и изданные Джедедием Клейшботамом, учителем и ключарем Гандерклейгского прихода. Соч. Сир Валтера Скотта: в 3 ч. М., 1827. Ч. 1. С. 16–17.

¹⁸² Розов В. А. Традиционные типы малорусского театра XVII–XVIII вв. и юношеские повести Н. В. Гоголя. С. 166.

«Имен, даемых при Крещении» украинское отождествление «Ганна, Галя, Галька... Анна» – единственное, противоречащее русскому, кроме *Маруси – Марины* (IX, 513). В русском языке уменьшительные *Галя, Галька* восходят к *Галине*, а значение этого имени «спокойная, безмятежная» явно отличается от значения «милость Божия» у *Анны/Иоанна*. По-видимому, **единое** украинское имя¹⁸³, варианты которого принадлежат **различным** русским именам, по мысли Гоголя, отражает двойственную природу типичной героини: духовное имя *Ганна* соответствует ее небесным мечтам, порывам ввысь, имя же *Галя* – земной, чувственной, слабой стороне ее натуры. То есть, «двойственная» героиня должна сделать выбор между дочерним долгом перед матерью и чувством к любимому, а неуверенный в себе герой – между любовью и патриотическим долгом, тогда как влюбленным противостоит недостойный отец героини – домашний тиран, предавший Острилицу и козаков. Эта коллизия напоминает любовный треугольник в повести «Майская ночь», где и Ганна-Галя, выбирающая между сыном и отцом, и юный Левко, искренне любящий ее, бескомпромиссный, уверенный в своей правоте, и его антипод – недостойный деспотичный отец – Голова, который заранее уверен в своей неотражимости, как бы взаимно дополняют и уравнивают друг друга.

В <Главах...> наглядно видно, как борьба долга и чувства – эта главная «пружина» исторических произведений того времени – организует, «закручивает» и «движет» все действие. На таком противоречии, вероятнее всего, основывалось бы и дальнейшее развитие сюжета. Уже готов был вмешаться антагонист героя – отец возлюбленной (тогда конфликт мог развиваться, как у Хмельницкого с Чаплицким). Но возможно участие и другого антагониста – ведь Герой смертельно оскорбил поляка, лишив его уса¹⁸⁴, и уланы, которыми тот командует, оказываются ночью в поместье Острилицы...

Подобными явными и скрытыми противоречиями определяется сюжетное построение («остановившееся движение» молящихся козаков, оружие в храме, народная ненависть к полякам – вынужденное подчинение силе, угрожающее взрывом, любовная коллизия), а также поступки Героя. Вот Острилица расправляется с начальником польских уланов и оставляет его в живых только как слугу короля, но вскоре сам спасает поляка от гнева толпы, дав понять козакам, что винить в своих бедах они должны именно короля. А рядом с возлюбленной Герой размышляет о возможной поездке «в Польшу к королю», хотя, по ее словам, «ляхи еще не вышли из Украины» и про Острилицу «никто не позабыл» (III, 288–289). Вероятно, Гоголь ввел этот мотив, чтобы затем использовать сведения о том, как Владислав IV, польский король в 1632–1648 гг., при встрече с Зиновием Хмельницким сказал: «Что вы здесь жалуетесь, разве не стало у вас рук и сабель?»¹⁸⁵

Согласно авторской трактовке, Герой одновременно молод и умудрен опытом, горяч и хладнокровен, откровенен и скрытен, жесток и великодушен, известен и неизвестен (а Галя – «девушка лет осьмнадцати» – не узнает любимого после *долгих лет* разлуки). Близким к идеалу вольного козака странником он стал по воле исключительных жизненных обстоятельств: чудесное рождение и круглое сиротство, участие в набегах запорожцев, «полон» у татар, вынужденное выступление против ляхов и поражение от них и/или турецкий поход. Все это отчуждает Героя, делает его одиноким. И семья представляется ему высшей и единственной ценностью, ради которой, считает он, можно обратиться к польскому «королю <...> или хоть к султану»,

¹⁸³ Галей-Ганнусенькой звали и героиню народной песни «Побег малороссиянки» (Малороссийские песни, изд. М. Максимовичем. С. 121.).

¹⁸⁴ Возможно, это аллюзия на конфликт Хмельницкого с Чаплицким: за вину последнего, по суду чести, Зиновий должен был сбрить его ус (*Paul A. Karpiuk. Gogol's Unfinished Historical Novel «The Hetman» / Karpiuk P. A. Незаконченный исторический роман Гоголя «Гетьман» // The Slavic and East European Journal. Vol. 35. No. 1 (Spring, 1991). P. 36–55.*)

¹⁸⁵ По преданию, «сей ответ развязал руки и изострил сабли козаков на освобождение отчины их» (*Глинка Ф. Зиновий Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия. СПб., 1819. С. 14.*). А память о вражде короля со шляхтой сохранилась в козацких песнях.

а при случае поселиться с возлюбленной «на Перекопе или на Запорожье» (III, 289) – то есть у крымских татар или на хуторах возле Сечи (ведь в самой Сечи женщин быть не могло). Стоит ли говорить, насколько такое пренебрежение традициями противопоставляло Героя его народу!

Характеристика Героя содержит взаимоисключающие черты и как бы суммирует известные обстоятельства жизни разных легендарных гетманов – не только Хмельницкого. При этом противоречия и эклектика, свойственные, по мысли автора, той эпохе и потому характеру Героя (в разной степени и другим характерам тоже), еще недостаточно обоснованы «художественно», слишком резки и потому так бросаются в глаза. Более чем прозрачна и цель изображения пути Героя: каждая последующая встреча должна добавлять ему какую-нибудь новую черту, обнаруживать противоречия в характере. А семантика имени Тарас обуславливает вероятность того, что «мятущийся» герой-индивидуалист байронического плана, самодостаточный одиночка, усомнившийся в справедливости миропорядка, волею судьбы станет «мятежным» героем-бунтарем и возглавит стихийное народное движение – так было с героем известного Гоголю романа В. Скотта «Пуритане» (1816)¹⁸⁶.

Представление о козачестве в <Главах исторической повести> создают и «портрет деда Острицы, воевавшего со знаменитым Баторием <...> суровое, мужественное лицо, которому жалость и все мягкое, казалось, было совершенно неизвестно», и «небольшая картина... изображающая беззаботного запорожца с бочонком водки, с надписью “Козак, душа правдивая, сорочки не мае”», и нарисованные народным умельцем «сцены из Священного Писания», где изображены «Авраам, прицеливающийся из пистолета в Исаака; св. Дамиан, сидящий на колу, и другие подобные» (III, 293–294). Заметим, что «Авраам, прицеливающийся из пистолета в Исаака...» – это версия библейского сюжета о принесении Авраамом своего сына Исаака в жертву Богу: «И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего» (Быт. 22:10; ср., убийство Тарасом Бульбой сына Андрия). Св. Дамиан-бессеребряник был искусным лекарем и обладал даром исцелять даже безнадежные болезни силою молитвы, однако в его житии нет эпизода казни на колу. То есть, ситуации козацкой жизни оказываются здесь переосмыслены как библейские и житийные сюжеты.

В этой перспективе судьба Героя-странника, круглого сироты, обусловлена и его козацким родом, и **чудом**. Он родился у *погибших* родителей: «...странная судьба моя! Отца я не видал: его убили на войне, когда меня еще на свете не было. Матери я видел только посинелый и разрезанный труп. Она, говорят, утонула. Ее вытянули мертвую и из утробы ее вырезали меня, бесчувственного, неживого» (III, 296). Этот фольклорный мотив чудесного рождения определяет миссию *народного спасителя, избавителя*¹⁸⁷, противостоящего не-козацкому миру, что подтверждается ускоренным развитием Героя («Еще мал и глуп... уже наездничал с запорожцами») и его побуждением вместе с козаками «отмстить за ругательство над Христовой верой и за бесчестье народу» (III, 297). Однако он тут же признается себе, что тогда «ни о чем не думал», его «почти силою уже заставили схватиться за саблю», а потом он стал виновником поражения козаков, не ударив из засады, так как увидел среди врагов «Галькиного отца» (III, 297; ср.: Андрий Бульба из-за любви к дочери воеводы возглавил засаду поляков в битве с запорожцами).

Если в архаических жанрах мотив «чудесного рождения» маркировал героя, избавлявшего людей от гнета и/или беды (например, С. Палея), то в современном Гоголю романе этот мотив был, как правило, связан с тайной *происхождения* героя. Так, в романе В. Скотта «Антикварий» (1816) рассказывается о том, как состоявшая в тайном браке леди Невил была заклю-

¹⁸⁶ Шотландские пуритане, повесть трактирщика, изданная Клейшботемом, учителем и ключарем в Гандер-Клейге. Исторический роман, соч. Вальтера Скотта: в 4 ч. М., 1824.

¹⁸⁷ *Протн В. Я.* Фольклор и действительность. М., 1975. С. 237. Герою-спасителю в фольклоре присущи неестественно быстрое развитие и неосознанные свободолюбивые устремления, что и демонстрирует Тарас Острица.

чена под стражу, бежала и бросилась в море. Когда ее спасли, у нее начались преждевременные схватки, и, родив сына, она скончалась. Ее свекровь, подстроившая все, чтобы разрушить этот брак, приказала служанке Элспет убить мальчика, но его спас дядя, брат отца, который затем тайно воспитал героя сообразно титулу и завещал ему свое имя. Состарившаяся Элспет перед смертью хочет облегчить душу и открывает тайну, которая освещает темные, скрытые от других героев связи, подробности прошлого – в конечном итоге, истину, и объясняет ход событий. Но, с точки зрения автора, это происходит и само собой, по естественным законам жизни, где всегда побеждает добро, а зло будет наказано даже официально – государством¹⁸⁸.

На фоне романа «Антикварий» (переключки с ним ранних гоголевских фрагментов, на наш взгляд, отнюдь не случайна) легко обнаружить и редукцию поэтики тайны: последняя в <Главах...> уже обуславливает лишь экзотическую сторону сюжета, связанную с его национально-историческим, фольклорным колоритом, и явно профанируется, ибо, не узнаваемый другими, сам герой знает о своем происхождении, а на роль хранительницы тайны подходит как выжившая из ума старая нянька, так и мать Ганны-Гали (в этом случае тайной могли быть и какие-то родственные отношения).

Портреты этих старух явно схожи с образами Элспет и тещи Глечика, а также с описанием сосны в «Главе из исторического романа». У Элспет неподвижное сморщенное лицо, «невнятный, могильный голос», «иссохшая рука», движения автоматические; отрешенная от внешнего мира, старуха ничего не замечает, ибо погружена в прошлое; иногда она кажется «мумией, на минуту оживотворенной давно оставившим ее духом»¹⁸⁹. В «Главе...» сосна «посреди обнаженного леса» была похожа на «мумию, которую с изумлением отыскивают между голыми скелетами, одну, не сокрушенную тлением. В ней видны те же черты, та же прекрасная форма человека объемлет ее. Но, Боже, в каком виде!» (III, 315). А теща Глечика напоминает «жертву могилы, в которой сильная природа нарочно удерживала жизнь, чтобы показать человеку всю ничтожность долголетия, к коему так жадно стремятся его желания. Могильное равнодушие разливалось на усеянных морщинами чертах ее. Ни искры какой-нибудь живости в глазах! мутные, они устремлялись порой... но тот бы обманулся, кто прочитал бы в них что-нибудь похожее на любопытство. Они ни на что не глядели; им все казалось смутно, как не совсем проснувшемуся человеку <...> старуха отправилась на печь, всегдашнее свое жилище, весь мир свой, который так же казался ей просторен и люден, как и всякий другой...» (III, 319). В <Главах исторической повести> мать Ганны-Гали – это «иссохнувшее, едва живущее существо <...> несчастный остаток человека... олицетворенное страдание <...> длинное, все в морщинах, почти бесчувственное лицо <...> губы какого-то мертвого цвета <...> слившиеся в сухие руины черты...» (III, 300–301). Все это наводит на мысль, что, изображая старух на пороге смерти, Гоголь не только наделяет их чертами Элспет, но и варьирует при этом классический образ старухи Смерти, представляя старух носительницами вечной тайны и ее символом. Подтверждение тому – в финале «Сорочинской ярмарки», в хрестоматийных образах «старушек, на ветхих лицах которых веяло равнодушием могилы <...> которых один хмель только, как механик своего безжизненного автомата, заставляет делать что-то подобное человеческому...» (I, 135–136).

Сам же отчужденный рефлектирующий Герой в <Главах...> пытается противостоять жестокости окружающего мира, насилию, самой *смерти*, и дает отпор не только наглым захватчикам (что совершенно естественно!), но и самосуду над ними «разгневанного народа», и атаману, «учащему» плетью одного из молодых запорожцев в Светлое Воскресенье (III, 283, 298–299). Таким образом, Тарас колеблется между козацким и «рыцарским»¹⁹⁰, между **противо-**

¹⁸⁸ Антикварий. Соч. Сир Валтера Скотта: в 4 ч. М., 1826. Ч. III. С. 227–228.

¹⁸⁹ Там же. С. 107–109.

¹⁹⁰ Розов В. А. Традиционные типы малорусского театра XVII–XVIII вв. и юношеские повести Н. В. Гоголя. С. 166.

стоянием миру, его законам, его несправедливости (здесь это еще не самая главная черта козака) и равнодушием к миру, даже его приятием, от выступления против поляков и осуждения короля – к мечтам о милости последнего и «прощении», от турецкого похода – к идее обратиться «к султану» (III, 289, 297–298). Его заветная мечта – хозяйничать Дома, в «семейном раю» вместе с возлюбленной (III, 298), и во имя этого он даже способен забыть о Долге и Товарищах, что было абсолютно недопустимо для козака. Такое поведение обычно для непоследовательного, чувствительного героя в «низовом» историческом романе, считавшего высшей ценностью *частную жизнь*. Тот мог увидеть на балу «волшебную украинку» – и «все планы, все чувства, все земное было забыто; он желал бы только видеть ее и обратить на себя также внимание»¹⁹¹.

Подруге же Острицы, наоборот, по душе участь вольного козака, которому «подавай коня, сбрую да степь, и больше ни о чем тебе не думать. Если б я была козаком, и я бы закурила люльку, села на коня – и все мне (при этом она махнула грациозно рукой) трын-трава! Но что будешь делать? я козачка. У Бога не вымолишь, чтоб переменял долю...» (III, 289). Далее – по сюжету «Кровавого бандуриста» и фрагмента <“Мне нужно видеть полковника”> – видимо, та же героиня (если исследователи верно поняли гоголевский замысел) уходит из семьи, переодевается в мужское платье [III, 713] и, отвергая приличия, наравне с мужчинами принимает участие в национально-освободительной борьбе. – Заметим: это более высокая ступень героического противостояния всему миру, чем обычно у козаков.

¹⁹¹ *Голота П.* Иван Мазепа. Исторический роман, взятый из народных преданий. М., 1832. Ч. 3. С. 68.

§ 4. Этапы работы автора над историческим романом

Рассматривая <Главы исторической повести> как попытку воплотить «идею» исторического романа, мы, вслед за первыми публикаторами, относим данный текст к ранним опытам Гоголя-прозаика 1829–1830 гг. Об этом свидетельствует историко-этнографический фон, детали которого заимствованы из «Истории Малой России» Д. Н. Бантыша-Каменского, а также из «Истории Русов»¹⁹², из словаря и записей «Книги всякой всячины, или подручной Энциклопедии» 1827–1831 гг. В частности, при описании бытовых реалий были использованы выписки из Академического словаря, из словника к сборнику М. Максимовича «Малороссийские песни» (1827) и сведения о старинном украинском быте, присланные по просьбе сына М. И. Гоголь в 1829 г. (IX, 524). Характерология <Глав...> близка фрагментам «малороссийской повести “Страшный кабан”» (1831) и повестям «Вечеров», особенно из первой части, которые создавались в 1829–1830 гг. Так, в повести «Вечер накануне Ивана Купала» ухаживающий за Пидоркой «лях, обшитый золотом... со шпорами» соответствует образу «ляха», что возникает в ревнивых подозрениях Острианицы, а употребление имени Ганна-Галя и стилистика объяснения влюбленных сближает «Главы...» с повестью «Майская ночь». Коллизия, когда отец возлюбленной героя «держит вражью сторону», повторяется в повести «Страшная месть». Время записи <Глав...> в *РМ* можно отнести к 1832–1833 гг.¹⁹³ Но нестыковки в их тексте, вариативность наименования героев, различие мотиваций можно объяснить, лишь предположив, что так были впервые сведены отдельные варианты **ранее** написанного. Насколько можно судить, его обработка с точки зрения будущего целого только начиналась и в основном затронула первую главу. Именно здесь, в отличие от других глав, длительное отсутствие Героя объясняется турецким походом, и его называют сотником – как Хмельницкого (см.: *ИМП*. Ч. 1. С. 187). В последующих главах его долгое отсутствие мотивировано упоминаниями о неудачном восстании против поляков и последующем бегстве, что отчасти сближает Героя с гетманом Острианицей. Возможно, Гоголь изменил дату «1625» на «1645» и соответствующим образом стал прорабатывать текст во избежание историко-смысловых аллюзий с восстанием декабристов 1825 г. Ведь изначально и датировка, и легко опознаваемые читателем совпадения с произведениями Рылеева об истории Малороссии, упоминание о неудаче народного восстания и выбор Героя-вождя располагали к таким аллюзиям.

Однако и этот обработанный заново текст продолжения не имел – и потому, скорее всего, что тип героя уже не соответствовал задачам повествования. Исключительный Герой, со всеми его противоречиями (непоследовательный, чересчур «вольный», «мятущийся» Тарас Острианица или талантливый, но хитрый и скрытный, себе на уме полковник Глечик в «Главе из исторического романа»), возвышаясь над другими, противопоставляет себя среде и, по сути, становится чужим для своего народа, подобно колдуну в «Страшной мести». Основой же первых повестей «Вечеров на хуторе близ Диканьки» как поэтической истории народа стало изображение *типичного народного героя* (не такого, как «средний» герой романов В. Скотта¹⁹⁴) – у Гоголя он больше напоминал персонажей украинского вертепа¹⁹⁵. И, в отличие от романов В. Скотта, где толерантно изображались обе стороны уже исчерпанного религиозно-идеологического конфликта и соответствующие идеалы этих сторон, Гоголь изначально ориентировал свое повествование на *утраченные идеалы* Козачества.

¹⁹² Казарин В. П. Повесть Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». С. 44–45, 53–54.

¹⁹³ Там же. С. 33. – Ср.: III, 713.

¹⁹⁴ См. об этом: Альтишуллер М. Г. Эпоха Вальтера Скотта в России. С. 16–19.

¹⁹⁵ Перетц В. Гоголь и малорусская литературная традиция // Н. В. Гоголь. Речи, посвященные его памяти... СПб., 1902. С. 50–51.

Поэтому, когда писатель, используя опыт «Вечеров», сводит потом варианты <Глав...> и обрабатывает, добавляя «приметы Хмельницкого», это фактически означает «усереднение» Героя (его *превращение* в обычного героя). Одновременно Гоголь отказывается от тенденциозного изображения мучений и страданий малороссиян, присущего ранним историческим фрагментам. И лишь затем, на рубеже 1833–1834 гг., «идея» романа о козачестве, которая с 1829 г. определяла сбор сведений по украинской истории и фольклору, публикацию материалов в журнале Свинына, вдохновляла ранние исторические фрагменты и подпитывала повести «Вечеров», в какой-то мере воплотится в повествовании о Бульбе и его сыновьях. Этому, несомненно, способствовали разработка замысла всемирной и малороссийской истории, углубленное изучение украинского фольклора и летописей.

Предположительно, сначала государственно-историческая «схема-идея» была связана с материалами для трагедии, которые Гоголь начал собирать еще в гимназии с 1827 г., когда в его письмах матери появились намеки о «начале великого предначертанного мною здания» (X, 117 и след.). Дальнейшая разработка «идеи» предшествовала созданию первой части «Вечеров» в 1829–1831 гг. и потом шла параллельно, оказывая существенное влияние на весь цикл (как показывают исследования, для творчества Гоголя характерна «перекрестная» работа над несколькими замыслами). Подтверждение мы находим в письмах того периода. Так, летом 1829 г. Гоголь сообщает матери: «В тиши уединения я готовлю запас, которого, порядочно не обработавши, не пушу в свет <...> Сочинение мое, если когда выдет, будет на иностранном языке, и тем более мне нужна точность, <чтобы> не исказить неправильными наименованиями существенного имени нации» (X, 150), – а затем вновь упоминает о каком-то «обширном труде» (X, 178). Как можно понять, речь идет о нескольких произведениях малороссийской тематики, причем одно из них явно объемнее и серьезнее, чем повести «Вечеров», на которые обычно указывают комментаторы. Сама же «идея» (судя по отсутствию уточнений в письме, известная матери), вероятно, возникла из вполне естественного интереса к истории своего рода после внезапной смерти отца в 1825 г.

Таким образом, к 1835 г. <Главы исторической повести>, «Глава из исторического романа» и «Кровавый бандурист» в представлении автора были связаны как различные и разновременные варианты воплощения «идеи» романа о национально-освободительной борьбе (с XVI до середины XVII в.), идеи, развитие которой привело к созданию «Тараса Бульбы». Именно там получили окончательное воплощение многие характеры, ситуации, описания, картины быта из предшествовавших фрагментов. Кроме того, эти произведения были связаны общностью места действия – Полтавщиной и временем, что можно назвать *условно-историческим*: несмотря на точные или неточные даты, иногда противоречащие им хронологические детали, это, по сути, то художественно обобщенное время освободительной борьбы, те ее периоды, какими их представлял художник-ученый. Подобная ахронологичность присуща историческому повествованию у романтиков (анахронизмы нередки у В. Скотта), как и предшествовавшему *готическому* роману – например, «Удольфским тайнам» (1794) А. Радклиф.

Исходя из явной *тенденциозности* <Глав исторической повести>, следует полагать, что к единому сюжетному повествованию на основе накопленного материала автор пришел на рубеже 1830–1831 гг., к началу Польского восстания, когда обострился общественный интерес к проблемам русско-украинско-польских отношений. А «Глава из исторического романа» представляет предшествующий этап разработки «идеи» – на основе семейных преданий и актуальных реминисценций из романов (в основном, М. Загоскина), – от чего Гоголь в дальнейшем отказался. По-видимому, его не удовлетворила по своим возможностям и любовно-авантюрная коллизия <Глав исторической повести>, один из набросков которых стал затем основой «Кровавого бандуриста». Учитывая все это, вкуче с замечанием о «частях романа», о его сохранившихся отрывках, нельзя исключить, что, согласно «идее», на каком-то этапе ее воплощения автор представлял целое или как взаимосвязанные *эпизоды жизни* легендарных гетманов –

от Наливайко до Хмельницкого и Апостола, или же как *цепь* эпизодов (глав) из жизни гетманов, *напоминавших* Хмельницкого внешностью, поведением, обстоятельствами жизни, – и это свое представление обозначил как роман «Гетьман». Неизвестно, были ли написаны другие его эпизоды или автор ограничился несколькими <Главами исторической повести>, но очевидно, как сама разработка «схемы-идеи», попытки ее воплотить в большом эпическом полотне оказывали огромное влияние на творчество Гоголя с начала 1830-х гг., вдохновляли его последующие исторические и жанровые поиски.

Одним из подготовительных набросков к повести «Тарас Бульба» и вместе с тем «мостиком» между ней и упомянутыми выше фрагментами исторического романа, по наблюдению исследователей, следует считать отрывок <“Мне нужно видеть полковника”>¹⁹⁶. Первый его вариант был вписан разборчивым почерком, близким к писарскому, идентичным почерку материалов по истории Малороссии 1832 г. Второй, расширенный вариант записан на обороте этого же листа скорописью и датируется 1833 г. По предположению исследователей, «отроком», который смущается и не смеет войти к полковнику, в первоначальном варианте могла быть переодетая юношей Ганна-Галя – возлюбленная Острицы: в <Главах...> он звал ее с собой, и потом во фрагменте «Кровавый бандурист» она окажется пленником, вместо него захваченным поляками [III, 713–714]. Кроме того, в этом отрывке перед нами возникает герой принципиально иного плана: «Прямо на разостланном ковре сидел полковник. Ему, казалось на вид, было лет 50. Волоса у него стали седеть, сизые усы величаво опускались вниз. Длинный синий рубец на щеке и лбу тянулся по его почти бронзовому лицу. Кажется, нельзя было отыскать никакой резкой характерной черты, но просто оно выражало со спокойствием уверенность козака. Глядя на него, можно было тотчас узнать, что у него рука железная и мощно может управлять <...> Несколько пистолетов и ружей стояли, и висели по углам ставки уздечки; в углу куль соломы. Полковник сам, своею рукой, чинил свое седло...» (III, 322).

Таким видит козацкого полковника оказавшийся в его шатре неискушенный отрок (или же – если верны догадки исследователей – переодетая в мужскую одежду девушка). Старый воин уверен в себе, умен, неприхотлив как простой козак, он явно превосходит остальных выдержкой, мудростью, огромным опытом, в том числе бранным (смертным), о чем говорит сабельный шрам. И потому полковник вполне убежден в своем праве на жизнь козаков (даже способен убить в походе пьяного!), получив власть «от Бога» и боевых товарищей, разделяющих с ним это право, а его властные приказы четко обозначают место действия – украинские «степи».

Подобная переориентация места действия и достаточно целостная, «непротиворечивая» характеристика героя показывают, как изменились взгляды Гоголя на историю Украины и козачества, когда он принялся за изучение и описание всемирной, средневековой и малороссийской истории и уже на этом фоне стал рассматривать фольклорные сведения, козацкие и польские летописи. Понять, каким в тот период он представлял козачество, нам поможет повесть «Тарас Бульба» в сборнике «Миргород» (СПб., 1835).

¹⁹⁶ Записная тетрадь Гоголя (РП). Л. 6–боб.

Глава III. Православные «лыцари» Сечи (особенности 1-й редакции повести «Тарас Бульба»)

Что ж лучше, спрашиваю я вас, молодцы? Воротиться ли до дому, чтобы каждый день колотила вас жинка, и, напившись, пропасть где-нибудь под тыном, как собака; или всем, как верным лыцарям, как братьям родным, лечь вместе на поле и оставить по себе славу навеки?

Огромная популярность повести «Тарас Бульба» и споры вокруг нее на рубеже тысячелетий объясняются возможностью ее прочтения в различных национально-патриотических аспектах. Это ярко продемонстрировал В. Я. Звизняцковский в работе, посвященной тайнам восточнославянской души¹⁹⁷. Парадокс, однако, в том, что, при явной антипольской и – шире! – антизападной направленности, 1-я и 2-я (она же каноническая) редакции повести были разведены самим автором по идеологическому вектору «свое / чужое». Так, в 1-й редакции «своей» виделась Гоголю украинская козацкая вольница – в ее постоянной борьбе с тремя, а то и всеми четырьмя соседними народами, в ее вольном, анархическом отличии от чужой – жесткой и жестокой – русской самодержавной «вертикали власти», а во 2-й редакции Запорожская Сечь стала частью Православного единства Святой Руси – в ее вечном противостоянии чуждым, «неверным», демоническим Западу и Востоку. Но и противоречий, сформировавших, а затем разрушивших ту самую вольницу, противоречий козачества Гоголь не собирался ни скрывать, ни приуменьшать. Другое дело, что для современного читателя (и даже части исследователей) они не совсем понятны, в большинстве малозаметны, и потому следует основываться на 1-й редакции повести, где такие противоречия «первичны»: более крупны, отчетливы, ярки, – используя при этом для сравнения и каноническую редакцию.

¹⁹⁷ Звизняцковский В. Я. Николай Гоголь. Тайны национальной души. Киев, 1994.

§ 1. «Герои своего времени»

В контексте раннего творчества Гоголя название повести – в отличие от романа «Гетьман» – означало уже принципиально иной подход к взаимосвязи личного и национального, включая главное действующее лицо в ряд типических *заглавных* героев национально-исторических романов «Юрий Милославский», «Рославлев», «Пётр Иванович Выжигин» (противопоставленных общеизвестным – исторически достоверным – *заглавным* «героям власти»: «Борис Годунов», «Кочубей», «Димитрий Самозванец», «Мазепа», «Хмельницкие»). Лишь упомянуто о смерти гетмана – судя по описанию казни в медном быке – Наливайко, предводителя народного антикатолического движения в конце XVI в. А месть за гибель «гетьмана и полковников» (II, 309) вдохновляет поход запорожцев на Польшу и отчасти, как показано, – религиозно-освободительную войну, возглавленную гетманом Остраницей, который тоже трагически гибнет со своими полковниками и войсковым чином. Выступления Наливайко и Остраницы, запечатленные в памяти народа, были самыми крупными до Хмельнитчины. Но, хотя все эти исторически достоверные персонажи и события «большой» истории, несомненно, определяют развитие сюжета, в центре гоголевского повествования оказывается не «история гетманов», а **жизнь козацкой семьи** как основы православного народа.

Выше мы уже отмечали, что украинское имя Тарас означало «бунтовщик, мятежник» и напоминало о гетмане Тарасе Федоровиче (Трясыло). Имя этого легендарного гетмана и фамилию другого Гоголь дал *типичному* герою своих ранних исторических набросков Тарасу Остранице. В повести же он соединил имя бунтовщика Тараса с прозвищем-фамилией Бульба. В украинском и польском языке XVI–XVII вв. слово *бульба* и родственное ему литовское *bulve* (от лат. *Vulbus* или нем. *Volle* – клубень, луковица)¹⁹⁸ – с коннотациями «круглый, плотный, земляной/земной» – обозначало не картофель, вошедший в обиход с XVIII в., а *земляную грушу*. Итак, семантика и генезис имени-прозвища героя соответствуют «составлению» его народа как молодого европейского, соединившего западное и восточное начала, естественного, еще близкого к природе, к земле и так же искренне, по природе своей, религиозного. Заметим, кстати, что, кроме Бульбы и его сыновей, в повести именем с фамилией наделены лишь исторически достоверные персонажи: воевода Адам Кисель и гетман Николай Потоцкий – дворяне, войсковые начальники (но не «ковенский воевода», не его безымянная дочь-панночка и другие члены дворянской семьи, не мать Остапа и Андрия, не есаул Товкач, не запорожцы Долото, Ремень и др., которым все заменяло прозвище, – и уж тем более не татарка, прислуживавшая панночке).

Сам же Тарас – не гетман, но и не обычный козак. «Когда Баторий устроил полки в Малороссии», Бульба «был из числа первых полковников» (II, 284), которых избирали «голосами свободных рыцарей» (IP, 7). После ссоры из-за неравного раздела добычи с поляками «он, в собрании всех, сложил с себя достоинство» и затем «из своего же отцовского имени составил довольно значительный отряд...» (II, 284). Теперь уже выбирал он сам, пользуясь «отеческим правом» *помещика*, с одним только есаулом Товкачом из всего полкового чина (потому, видно, Бульба считает «своими» и козаков, и курени полка¹⁹⁹). Так он стал одним из тех самостоятельных «партизанов», кого не вносили в польский правительственный «реестр», да и сами они к этому не стремились – просто считали себя обязанными при любых обстоятельствах защищать Веру и Отечество «от неверных», вершили суды-расправы по «справедливости» в своем разумии, охотно при случае сами поддерживали бунт или выступали в поход с запорожцами.

¹⁹⁸ *Словарь Фасмера*. Т. 1. С. 240. В дальнейшем именно семы 'круглый, плотный, земляной/земной' обусловили перенос наименования *бульба* с земляной груши (*Helianthus tuberosus*) на картофель.

¹⁹⁹ Примечательно, что во 2-й редакции такие определения были сняты, а состав полкового чина значительно расширен.

Бульба соединяет в своей натуре азиатское и европейское, земную, «материальную» основательность, оседлость – и вольность, точнее, необузданное своеволие, страшное «упрямство духа» (II, 283).

По-азиатски деспотичный Бульба, которому жена-рабыня дорога лишь как мать его сыновей, своей настоящей семьей считает суровое товарищество вольных «безженных рыцарей» Сечи. Только с ними он чувствует себя на равных, хотя и отделен от них помещьем, и семьей, и всей своей собственностью, что дает ему независимость и власть. Так, для смещения кошевого недовольный Тарас «собрал кое-каких старшин и куренных атаманов и задал им пирушку на всю ночь» (II, 304), вероятно, недешево ему обошедшуюся. Затем, чтобы увидеть Остапа, он отдает Янкелю «2000 червонных», а за освобождение сына в Варшаве пообещает «еще двенадцать» (II, 335, 338). То есть, родовое наследство, а также законную военную добычу он не прогуливает, по обыкновению запорожцев, хотя, наверное, и может, не задумываясь, пожертвовать для общего дела. Но у него (и других «льцарей») уже появился вкус к наживе, к накоплению, к инфернальному золоту, дающему власть над жизнью других и от них отделяющему.

Однако своим сыновьям Бульба сначала даст книжно-богословское аскетическое образование – для закалки, крепости веры – и лишь затем повезет в настоящую республиканскую бескорыстную «школу» Сечи, где они должны пройти испытания на достойную жизнь (или смерть) «вольного козака», породненного со степью. О Козаке и Степи идет речь с начала повести. Вот свобода движений и воля – ее у сыновей, по словам отца, стесняют «поповские подрясники» и «буквари» бурсы; вот – вместо приветствия – равный бой сына с отцом «на кулаки»; вот помянуты «чистое поле да добрый конь» и сабля вместо матери, а за ними последуют «Запорожье... козак» – и вот отъезд уже назначен на утро; вот мать «как степная чайка» вьется «над детьми своими» (II, 279–281, 286).

Так развивается противопоставление Дома и того, что в нем («бабы, нежбы» и прочих, на взгляд Бульбы, бесполезных, а значит и губительных «удобств»), – тому, что «за порогом», где-то на просторе, в Сече. Впрочем, и в самом доме глиняный пол, «на стенах – сабли, нагайки, сетки для птиц, невода и ружья...» (II, 44)²⁰⁰ – все необходимое для вольной козацкой жизни вне дома. А светлица для Бульбы не только «освященное убежище» с маленькими окнами-бойницами, «какие встречаются ныне только в старинных церквях», или – по праздникам – место разгульного пира, где вволю пьют «горелку», закусывая «целым бараном» (тоже приметы степи), но и «темница», которую при случае не грех разрушить изнутри, истребив нажитое, или просто отвергнуть: чуть стемнело, лечь спать на дворе под «бараньим тулупом», пока не донесется «со степи... звонкое ржание жеребенка» и не пора будет в «путь великий» (II, 285–286, 287). Мятежному Тарасу тесно здесь, отчасти потому он и затеял биться «на кулаки» (ср. схватки в Сече между куренями или в «Страшной мести» – смертельную схватку Данилы с тестем), и мала пирушка: их всего четверо за столом (ср. двухтысячный козацкий пир на поле брани под Дубно), и зачем ждать еще неделю, чтобы отправить сыновей на Сечу, а сам он «должен разве смотреть за хлебом да за свинарями? Или бабиться с женою?» (II, 283). Забегая вперед, скажем, что, потеряв сыновей, он больше не возвратится в дом, откуда начинался совместный их путь.

Двор усадьбы, «дальний луг» за хутором, а затем «равнина», которая «кажется издали горою и все собою закрыла», – это предвестия простора Степи, напоминающие ее (хотя все не она!), так же как родительский дом, «и детство, и игры», и бурса, и встречи с «чернобровой козачкой» (II, 289) – всего лишь *прошедшее* перед настоящей козацкой жизнью. И готовность ради нее отказаться от *прошедшего* (и от самого себя – *прошлого*) определяет для сыновей Бульбы их будущее соответствие Степи и Сече.

²⁰⁰ На наш взгляд, эта детализация во 2-й редакции лишь проясняет изначальный замысел.

На ее пороге юноши оглядываются, как бы прощаясь со своим прошлым. Индивидуальное (и прошлое, что питает и обуславливает личность) должно раствориться в будущем единении, где над *земным* – родовым, семейным, собственным – преобладает *духовное*, свойственное всем козакам: энтузиазм их природной Веры и мужество ее защиты, вольнолюбие, товарищество, что даны Степью и противопоставляют Козака всему остальному миру. Он герой не только потому, что защищает родину от «трех разнохарактерных наций» (II, 283) – турок, татар и поляков, с которыми кровно связан по происхождению, – но и потому, что для защиты Веры и Отечества покидает семью, зачастую разрывает отношения с близкими, бросает повседневные дела, занятия, отвергая удобства мирной жизни²⁰¹. Без этого нет Козака!

Православных степных «льцарей» многое сближало, но многое и разделяло с европейским католическим рыцарством (эти отличия будут акцентированы во 2-й редакции повести). Рыцарь-аристократ, как правило, самоотверженно служил Вере, сеньору и Даме – но индивидуально: больше всего он ценил свою Честь, Вольность и Собственность и неохотно, в крайнем случае, объединялся с другими. Гоголь показывает козачество как основу народа – «соль» и «цвет» его Православного воинства (во 2-й редакции о козачестве будет сказано, что «его вышибло из народной груди огниво бед». – II, 44). Подобно монахам, «льцари» из разных слоев населения по своей воле отказались от семьи, дома, обычных занятий и живут в товариществе по заветам христианского братства, без излишнего, однако религиозный аскетизм им чужд, они неустойчивы и в битве, и в пиршествах, а служение Вере сочетают с азиатским пренебрежением к женщине. Они еще отчасти варвары, кочевники, близкие природе, и, соответственно, им присущи некоторые языческие черты. Недаром как в повести, так и в статье «Взгляд на составление Малороссии» козачество уподобляется Адаму («из земли») и древним германцам – этому «первобытному народу», порожденному своей землей, черпавшему в ней силы, героически-вольному, имевшему «только обычаи, которые обыкновенно сильнее самих законов» (VIII, 119–120, 122).

Поэтому не случайно изображение Козака сохраняет у Гоголя архаические черты родоплеменных испытаний, отчасти уже отмеченные исследователями²⁰², хотя ритуалы посвящения, о которых писатель мог знать (или догадываться) на основании доступных ему немногочисленных устных и письменных источников, по-видимому, были переосмыслены и трансформированы – так же, как «переплавлялись» в горниле его художественной системы фольклорные мотивы. Следы этой переработки, «отголоски» инициации, что мы находим в гоголевской повести, интересно сопоставить с общей схемой родоплеменного посвящения у восточных славян²⁰³, которую мы уже кратко характеризовали выше, на с. 22–23.

Весной, когда у древних славян начинался Новый год, юношей, достигших определенного возраста, отправляли в лагерь вне территории племени или рода – в лесу, реже в поле. Сам выход юношей за границу территории приравнялся к смерти, а нахождение в святилище (лагере) – к пребыванию на «том свете». Ритуальным перевозчиком между «этим» и «тем» светом служил конь. Инициация начиналась с физических испытаний: юношам наносили болезненные удары, иногда неглубокие раны, морили голодом, испытывали также их силу, ловкость и выносливость. Кроме того, их всячески унижали, при этом запрещая смеяться и говорить. Обязательным было посвящение в тайные (мужские, воинские) знания, когда юношам переда-

²⁰¹ По словам А. Карпенко, «у Гоголя, опирающегося на народные исторические воззрения, казак – это воплощение народных социально-политических идеалов; он видит свое патриотическое призвание в защите “отчизны и веры” от всех “нехристианских хищников”». – Карпенко А. О народности Н. В. Гоголя (Художественный историзм писателя и его народные истоки). Киев, 1973. С. 112.

²⁰² См., например: Есаулов И. А. Спектр адекватности в истолковании литературного произведения («Миргород» Н. В. Гоголя). М., 1999. С. 43–44.

²⁰³ Мы используем сведения, приведенные в статье: Балцшок В. Г. Инициации древних славян (попытка реконструкции) // Этнографическое обозрение. 1993. № 4. С. 57–66.

вали мифы, традиции, обряды, различные магические приемы влияния на окружающий мир... Основными обрядами были временная ритуальная смерть, когда испытуемых поглощало чудовище, и последующее «воскрешение» – освобождение из его чрева²⁰⁴ и перерождение в тотемного зверя, обычно волка (отсюда народные легенды про оборотней-вовкулаков и поверья о волке-демоне). Вероятнее всего, ритуал превращения завершался употреблением наркотических веществ, позволявших неопиту «беседовать» с духами предков, а главное – ощущать в себе дух тотемного предка. После этого молодые воины должны были пожить «волчьей жизнью» вдали от поселений, воюя или занимаясь набегами и грабежами. Отголоски этого во времена Гоголя сохранились в виде набегов парубков на селения и отдельные дворы – ритуальных бесчинств, иногда граничивших, как показано в повести «Майская ночь», с настоящим разбоем.

Хозяином волков или «волчьим богом» в украинских легендах про оборотней и других фольклорных материалах обычно называют св. Юрия (Георгия), именуемого Козаком, который заменил языческого громовержца Перуна и отчасти его змеевидного врага Велеса. Поэтому можно предположить, что Велес был покровителем на первом этапе инициации, пока юношей ритуально проглатывал Змей и происходило их символическое перерождение в волков, а бог-воитель Перун выступал уже как покровитель молодых воинов-«волков», которые главным образом воевали или совершали набеги. И когда члены «волчьего» союза доказывали силу и мужество, они проходили заключительные обряды инициации – возвращение в свою общину и посвящение в ее полноправные члены. Вероятно, последний этап подразумевал и ритуальный переезд на коне с «того света» в мир людей. «Заново рожденные», как правило, обозначали свой новый статус соответствующим изменением облика: наряжались в иную (новую или праздничную) одежду, по-особому стриглись, а также могли получать другое имя (ср., прозвища запорожцев).

Основные события в жизни сыновей Бульбы удивительно напоминают **схему инициации**:

- «Они были отданы по двенадцатому году в киевскую академию...» (II, 290), то есть в особое учебное заведение, чтобы постигать «книжную премудрость» в отдалении от дома – в Киеве, священной столице Древней Руси и Православия, которое было принято здесь народом, через книги и грамоту получившим сакральные знания, затем передававшиеся священнослужителями;
- во время учебы «школяры» подвергались унижительным физическим наказаниям, терпели лишения, голодали и т. п.; они не имели права ездить верхом и носили «длинные чубы, за которые мог выдрать их всякий козак, носивший оружие» (II, 282);
- лет через десять, окончив духовное заведение (Академию / семинарию / бурсу – повествователь намеренно не различает этих наименований: важно, что здесь готовят служителей христианской церкви, чьим «оружием» должны быть любовь к Богу и ближнему да Слово Божье), они вернулись в отчий дом – весной и впервые на коне, – полные решимости, оставив Дом и отбросив гуманную «премудрость», испытать себя в Сечи и на войне;
- для такой поездки их впервые обряжают в новую, козацкую одежду и дают оружие.

²⁰⁴ Протт В. Я. Исторические корни волшебной сказки // В. Я. Протт. Собрание трудов. М., 1998. С. 149.

Следовательно, в начале повести речь идет не о «козацкой чести»²⁰⁵ только что выпущенных «бурсаков». – Насмешкой, упреком в несвободе Тарас продолжает испытывать сыновей. И Остап, как подобает старшему сыну, первенцу, отстаивая оскорбленное достоинство свое и брата, идет против всех, не исключая родителя: «Хоть ты мне и батько, а как будешь смеяться, то, ей-Богу, поколочу! <...> За обиду не посмотрю и не уважу никого» (II, 280). Но тем самым он нарушает Пятую заповедь «Чти отца своего и мать свою...» – несмотря на гибельное следствие: «Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти» (Исход 21:12, 15)²⁰⁶.

Воинственную встречу Бульбы с сыновьями, последующий семейный пир и догадки отца, что в Академии сыновьям не давали «и понюхать горелки», а за провинности «кроме суботки, драли... и по середам, и по четвергам» (II, 282), можно сопоставить с эпизодом известной Гоголю повести В. Т. Нарезного «Бурсак» (1824; на ее очевидные связи с «Виєм» указывали, начиная с Белинского). Когда козацкий полковник встретил сына после учебы в академии, то «принял в объятия свои... с нежностью и сказал: “Радуюсь, Леонид, той великой перемене, какую в тебе вижу. Об успехах твоих в науках и некоторых искусствах уверяет меня ректор Академии, а в добром поведении, которое и само по себе делает много чести всякому человеку, а в образованном науками оно бесценно, свидетельствует отец Геласий; я обоим верю и радуюсь несказанно...”», – а затем поручил «учредить праздничный обед и пригласить на оный всех начальников и прочих чиновников полка Гетманского от старшего до младшего и познакомиться с ними» сына «как будущего сослуживца», да не жалеть «для сего ни кухни... ни погребка...»²⁰⁷.

Тарас тоже полностью одобрит поведение сына – но после боя, когда испытает силу, напор и умение Остапа: «Добрый будет козак! <...> Вот так колоти всякого, как меня тузил. Никому не спускай!» (II, 280). В отличие от жены, он видит сыновей не детьми, а козаками, чья судьба – «поле да добрый конь», и потому затевает пир с «целым бараном», духовитой «горелкой» (для беседы с духами предков?) да напутственным словом будущим козакам²⁰⁸ – программой, говоря современным языком: «Дай же, Боже, чтоб вы на войне всегда были удачливы! Чтоб бусурменов били, и турков бы били, и татарву били бы; когда и ляхи начнут что против веры нашей чинить, то и ляхов бы били», – при полной поддержке сыновей и готовности их «теперь... расписать всякого... саблями да списами. Вот пусть только попадет татарва» (пока до этого не дошло, «две здоровые девки в красных монистах» привычно бегут, чуть завидев «приехавших паничей, которые не любили спускать никому»²⁰⁹), и сам «мятежный» Тарас, все больше распаляясь от боевого задора сыновей, начинает бунтовать против постылого мирного

²⁰⁵ Ср.: Есаулов И. А. Цит. соч. С. 44.

²⁰⁶ В то же время бой Тараса Бульбы и Остапа имеет ритуально-праздничный характер, явно соответствуя «народному обычаю кулачных состязаний», ибо «согласно преданию, кулачное состязание является народно-бытовой формой испытания силы, смелости, ловкости и выносливости в борьбе – черт, неизменно присущих типу народного героя»; кроме того, «этот обычай-испытание практиковался в народе при встрече после долгой разлуки товарищей-побратимов, друзей, родных» (Карпенко А. Цит. соч. С. 1071 10; курсив автора).

²⁰⁷ Нарезный В. Бурсак, малороссийская повесть. Ч. 4. С. 37, 39.

²⁰⁸ По наблюдению А. Карпенко, в народных рассказах «бывшее в чести у запорожцев “бражничество”... всегда сопровождалось обычаем “благословения” и пожеланий, в которых раскрываются патриотические идеалы казака...» (Карпенко А. Цит. соч. С. 111).

²⁰⁹ Здесь вероятна переключка с первым романом В. Скотта «Уэверли» (1814): герой увидел на лугу двух девушек, которые полоскали босыми ногами «в огромной бочке», но, «устрешенные нечаянным появлением, поспешили опустить платье для закрытия ног, которые от их движений могли представить неприличность. – Ах, господа! вскричали оне, и голос их выражал вместе скромность и кокетство, и пустились бежать, как дикие козы» (Веверлей, или Шестьдесят лет назад. Соч. Сира Валтера Скотта. М., 1827. Ч. I. С. 92–93). Причем во 2-й редакции «Тараса Бульбы» переключка стала отчетливой: «Они, как видно, испугались приезда паничей... или же просто хотели соблюсти свой женский обычай: вскрикнуть и броситься опрометью, увидевши мужчину, и потом долго закрываться от сильного стыда рукавом» (II, 43).

существования в Доме: «На что нам эта хата? к чему нам все это?..» – разрушая семейное единство и согласие на пиру (II, 281–283).

Дело в том, что Бульба хочет видеть сыновей не продолжателями рода (тогда бы он их женил), но *отражением* своей личности, своей физической и духовной «проекцией» в козацкий мир, а потому должен им передать свой опыт Козака. При этом опровергается знание теоретическое, «книжное» («Это все дрянь... и академия, и все те книжки, буквари и филозофия...») или женское – пассивное, противоречащее козацкой жизни: «Не слушай, сынку, матери: она – баба. Она ничего не знает <...> А видите вот эту саблю – вот ваша мать!» (II, 281). В черновике метафора была шире: «...А мушкет видите вы, что у меня висит – вот это ваш батько. А не кто другой...» (II, 598), – то есть Бульба, по мысли автора, «отрекался» от своего отцовства в пользу оружия, символизировавшего не только козацкую, боевую, но и вообще мужскую силу. «Козак с мушкетом» стал гербом Запорожского войска к середине XVI в., и печать с таким изображением Стефан Баторий в 1576 г. пожаловал украинскому гетману; в XVII–XVIII вв. «Козака с мушкетом» (обычно красного цвета) помещали как на главных полковых знаменах – хоругвях, так и на прапорах, сотенных хоругвях и значках. Последующую замену в беловом тексте мушкета на *саблю* можно объяснить тем, что хотя мушкет был типичным оружием в то время, но, согласно народным представлениям, запечатленным вертепом, козаку подобает люлька и/или победительная «сабля»²¹⁰, считавшаяся «козацкой матерью».

Называя жену без имени – «мать», «стара», Тарас свято верит, что не козацкое дело «возиться с бабами», но что «молитва материнская» о сыновьях, обращенная к Божьей Матери – покровительнице Козачества, «и на воде, и на земле спасает» (II, 281, 288). Привычно противопоставляя мужскую преобразовательную земную силу и разум (Адама) плотскому, чувственному, неодухотворенно-земному женскому приятию мира («Еввы»), Бульба считает последнее ущербным, языческим и попросту дьявольским²¹¹ и в то же время сознает, что слабое женское начало, будучи одухотворено, обретает огромную власть. В повести это Мать, Церковь и Сеча, – хотя мать «жалка, как всякая женщина того удалого века <...> Вся любовь, все чувства, все, что есть нежного и страстного в женщине, все обратилось у ней в одно материнское чувство» (II, 286), Покровская церковь²¹², где «вся Сечь молилась... и готова была защищать ее до последней капли крови», обходится «без всякого убранства» (II, 305), а Сеча – ее козаки называют Матерью – без своего войска будет «взята, разорена татарами...» (II, 323).

В статье о народных малороссийских песнях, созданной практически одновременно с черновой редакцией «Тараса Бульбы», Гоголь говорил о противоречивом единстве мужского и женского начала: в одних песнях «дышит эта широкая воля козацкой жизни. Везде видна та сила, радость, могущество, с какою козак бросает тишину и беспечность жизни домовитой, чтобы вдаться во всю поэзию битв, опасностей и разгульного пиршества с товарищами <...> Остальная половина песней изображает другую половину жизни народа: в них разбросаны черты быта домашнего; здесь во всем совершенная противоположность. Там одни козаки, одна военная, бивачная и суровая жизнь; здесь, напротив, один женский мир, нежный, тоскливый, дышащий любовью. Эти два пола виделись между собою самое короткое время и потом разлучались на целые годы» (VIII, 91–92). То есть, по Гоголю, само единство-различие жизни двух «половин» народа развивало его «дух».

Таким же противоречивым единством мужского и женского, земного и духовного предстает и семья Бульбы, и сочетание его имени и прозвища: «мятежный» Тарас – «круглый, плот-

²¹⁰ Розов В. А. Традиционные типы малорусского театра XVII–XVIII вв. и юношеские повести Н. В. Гоголя. С. 105.

²¹¹ Соотнесение «бабы» с чертом – обычный мотив украинских поверий. Эти представления были обоснованы ролью, которую, как сказано в Библии, сыграла Ева в грехопадении первых людей, и оправдывали бесправное положение женщины в семье и обществе как «существа низшей породы» (Булашев Г. О. Цит. соч. С. 146–147).

²¹² То есть храм Покрова Пресвятой Богородицы, которая считалась покровительницей-заступницей козаков. Связанный с Ее заступничеством за христиан праздник Покрова возник в Византии.

ный, земляной, земной» как земляная груша (черновое прозвище Кульбаба²¹³ – «одуванчик» – грубее, но отчетливее соединяло *земляное/земное* и *женское*). Герой напоминает древнегерманское языческое двуполое божество (Туистона, Тевта, Туисто), рожденное Матерью-Землей и, в свою очередь, породившее первого человека Мана, – о чем говорилось в статье «О движении народов...» (VIII, 119). Это сходство отчасти объясняет и «двадцатипудовый» – 320 кг! – «земной» вес героя²¹⁴, и такие его «звериные», близкие к дьявольским проявления, как «ярость тигра», «гнев вепря» (т. е. аномальную для человека жестокость, свирепость), и «какой-то испуганно сверкающий взгляд» в сцене убийства Андрия, и безмерную, тоже похожую на «звериную», родительскую любовь, и преданность Вере и Козачеству, и ненависть к полякам и басурманам вообще, и архетипические неистовство и строптивость²¹⁵.

В данном случае структуру «героя времени» образует не смешение *всяческих* противоречий – как это было у Тараса Остраницы в <Главах исторической повести> Гл. II, – а *противоречивое единство* азиатского и европейского, христианского и языческого, индивидуализма и товарищества, личностного и типического, сверхперсонального (даже, как мы заметили, мужского и женского, человеческого и природного, животного) – сообразно тем же различным началам, какие, по Гоголю, породили Козачество. Подобное разнородное соединение предполагает и возможность **распада** антитез на означенных «стыках-трещинах», когда у героев остается только «низшее» – земное, безличное, собственническое, животное, а в конце концов дьявольское, – или только «высшее», соотносимое с Божественным. Правда, при этом будет утрачена возможность дальнейшего развития.

Противоречивое единство – это одна из формул цикла, а значит Гоголь применил ее для «Арабесок» (построив на ней сюжет книги) и для создания козацкой эпопеи, что подтверждает структура образов повести, подобных образам народного театра и фольклора, – например, противоречивого сквозного образа Пира-битвы²¹⁶. В дальнейшем писатель будет использовать эту формулу, изображая семью, народ, государство, историю и... саму жизнь. Так, в историческом фрагменте «Жизнь» (1835) соположены *разные* образы всех средиземноморских древних цивилизаций, которые воплощали *разные* идеи культуры: Египет, Греция, Рим – «...как будто бы царства предстали все на Страшный Суд перед кончиною мира» в момент Рождества (VIII, 83), когда умирающий Древний языческий мир дает начало Новому, Христианскому миру, предвосхищая «конец времен» (об этом см. с. 197).

Противоречивое единство присуще и богатырскому образу Бульбы, и сообществу его и сыновей, когда обычно противопоставленные молодость и старость, мудрость и задор, «мятежность» и «стойкость», опыт, разум и чувство здесь взаимно дополняют друг друга, а иногда противоположности уравниваются²¹⁷. Столкновение и поединок Остапа с отцом свидетельствует о духовной их близости, одинаковом взгляде на мир. – Ср. «широко распространенный в эпосе рассказ о бое отца с сыном, не узнающим отца» (Хильдебранда и Хадубранда... Ильи Муромца и Сокольника), где обычно побеждает отец²¹⁸. – Наоборот, Бульбе непонятно поведение младшего сына, который, следуя заповеди, в это время обнимает мать, за что и будет назван «мазунчиком». Однако семейный пир вновь возвращает героям «братскую» христианскую общность, а затем прощание с матерью выявляет сходство и различие их реакции: оба сына «удерживали

²¹³ Записная тетрадь Гоголя (РП). Ф. 199. Ед. хр. 1. Л. 16.

²¹⁴ Ср. «земляную/земную» семантику его прозвища и авторское пояснение: «...был чрезвычайно тяжел и толст» (II, 288) – с истолкованием этого советским ученым: «художественная гипербола» (Карпенко А. Цит. соч. С. 126–127).

²¹⁵ Мелетинский Е. М. О литературных архетипах. М., 1994. С. 25–26, 78.

²¹⁶ Анненкова Е. И. Повесть «Тарас Бульба» в контексте творчества Н. В. Гоголя // Анализ художественного произведения: Художественное произведение в контексте творчества писателя: Книга для учителя. М., 1987. С. 60–61.

²¹⁷ Там же. С. 71.

²¹⁸ Мелетинский Е. М. О литературных архетипах. С. 45.

слезы, боясь отца своего, который, однако же... тоже был несколько смущен, хотя не старался этого показывать» (II, 289). И потом каждый погружается в *свои* мысли...

Глядя на сыновей, Бульба вспоминает свою козацкую «молодость... протекшие лета» и думает «о том, кого он встретит на Сече из своих прежних сотоварищей... какие уже перемерли, какие живут еще» (II, 289–290), – о чем обычно думает козак. Его деятельная, «лыцарская» защита Веры определяет и несколько скептическое отношение к священникам и воинам Христа – монахам. И потому насмешка Бульбы над «поповскими подрясниками» сыновей (затем он сравнит уныло притихших козаков с монахами-«чернецами») могла быть разведкой того, как они воспримут перспективу рукоположения. К его удовлетворению, намек был опровергнут аргументом Силы, кулаком, «рукоприложением». Старший сын не обманул ожиданий, а вот младший насторожил: чувствительностью, недостаточной жестокостью (это «женское», пагубное для воина), означающими склонность к удобствам, «нежбе», «бабам», Дому («цивилизации») – тому, что Бульба отвергает сам и презирает в «чужих», пока у него над чувствами господствуют Вера и Разум, не допуская отклонений или сомнения.

Вероятно, повесть о Бульбе и сыновьях его Остапе (Евстафии) и Андрии в какой-то мере опирается на одно из самых известных житий, переведенное еще при христианизации Руси. Это житие великомученика Евстафия, которого обычно изображали римским воином или средневековым рыцарем, держащим на руках двух сыновей (иногда рядом с ним жена, иногда на заднем плане медный бык). Пафос жития – в неколебимой вере, подвергнутой Богом различным испытаниям, как у Иова. Обращение в христианство Плакиды, знаменитого воеводы царя Траяна, произошло на охоте, когда он увидел белого оленя, между рогов которого сиял образ Спасителя, и услышал глас Божий. Крестившись под именем Евстафия (от греч. *eustathēs* – «устойчивый») и окрестив семью, неофит вновь услышал голос свыше, предрекавший ему страдания за веру. После того как болезнь поразила его слуг и многих домочадцев, Евстафий решил отказаться от своего высокого положения и всего нажитого: они с женой и детьми оделись просто, покинули имение, не взяв ничего, кроме необходимого, и стали пробираться туда, где их никто не знал. Испытанием стала долгая разлука. Сначала хозяин корабля, на котором они приплыли в Египет, похитил жену, соблазнившись ее красотой. Затем при переправе через реку отец потерял обоих сыновей: когда он перенес одного и возвращался за другим, лев и волк – каждый на своем берегу – схватили и унесли малышей. После этого Евстафий жил как раб, в неизвестности, скорбя о жене и детях. Во время нашествия варваров его нашли по приказу Траяна и призвали для спасения Рима. Он согласился. В походе жена и дети, по Божьему Промыслу оставшиеся невредимыми, оказались в его войске. Сыновья-воины и мать узнали друг друга и пришли к отцу-воеводе. После своей победы Евстафий отказался совершать благодарственные языческие обряды, и его со всей семьей, по велению нового царя-язычника Адриана, пытались отдать на растерзание диким зверям, а потом сожгли в медном быке (118 г.).

Представленные в житии мотивы воинской службы отца и двух его сыновей, испытания его веры, потери сыновей по-своему связаны в гоголевской повести с мотивами религиозного противостояния и мученической смерти за веру («...гетьман, зажаренный в медном быке... лежит еще в Варшаве». – II, 309). Да и сам сюжет о гибели сыновей и отца влечет многоплановые аллюзии – от античного эпоса (смерть Лаокоона и его сыновей) до фольклора (сказки, былички, легенды про отца и сыновей), от библейского рассказа о жертвоприношении Авраамом своего сына Исаака (Быт. 22:10) до многочисленных аллюзий на это в житиях, от исторической повести А. Бестужева «Изменник» (1825) – о том, как один из двух братьев перешел на сторону поляков, а потом встретился с братом в смертельном бою²¹⁹, – до народных рассказов и сведений исторической хроники о судьбе двух сыновей Богдана Хмельницкого: героически погибшего в Молдавии Тимофея (Тимоша) и Юрия (Юрко), который стал после смерти отца

²¹⁹ Отмечено: *Вайсконф М.* Сюжет Гоголя. С. 443.

гетманом, ориентировался на Польшу и потому прослыл изменником, или до известной тогда всей России (и, разумеется, Гоголю) полуофициальной легенды о подвиге при Бородине генерала Раевского и двух его юных сыновей. Так образуется смысловой «ореол» текста.

Заметим, что обычно в фольклоре братья антагонистичны: умный и глупый, добрый и злой, – а миф и сказка в большинстве случаев представляют их отношения амбивалентными²²⁰. Кроме того, показывая различие характеров братьев-погодков, воспитанных в одинаковых условиях, Гоголь, вероятно, учитывал принцип изображения в пушкинском романе сестер-погодков Татьяны и Ольги Лариных, отношения которых, несмотря на коренное различие характеров, вовсе не конфликтны. Можно сказать, что в противоречивом трагическом единстве судьбы Остапа и Андрия соотносятся как тезис и антитезис козацкой жизни в тот «жестокий век», когда козачество противостояло иновечерскому и «женскому», будучи связано с ними кровно: происхождением, прямым родством.

Естественные козацкие черты Бульбы достаточно рано проявляются в «устойчивом», согласно значению имени, характере Остапа (Евстафия): упрямство, «твердость», «прямодушие»; он «считался всегда одним из лучших товарищей <...> и никогда, ни в каком случае не выдавал своих товарищей. Никакие плети и розги не могли заставить его это сделать. Он был суров к другим побуждениям, кроме войны и разгульной пирушки; по крайней мере, никогда почти о другом не думал» (II, 291–292) – и готов героически противостоять миру. Его искренне трогают «слезы бедной матери, и это одно только его смущало и заставляло задумчиво опустить голову» (II, 292). Вместо его воспоминаний следует рассказ автора про общее прошлое братьев – их первоначальное свободное домашнее воспитание на природе и схоластико-религиозное образование в городе, что «страшно расходилось с образом жизни»: в киевском обществе бурса «составляла совершенно отдельный мир», где вражда «духа», «буквы» и «опыта», телесные наказания и голодная «республиканская» жизнь воспитывали в бурсаках козацкое упрямство, ожесточенность и «предприимчивость, которая после развивалась на Запорожье» (II, 290–291).

Прошедший ту же школу Андрий – герой «от природы» (древнегреч. *andreios* – «мужественный, храбрый» от *andros* – «мужчина, муж»), но отличается от брата и отца живыми, развитыми чувствами – быть может, потому что его больше любила мать, – и в своем отношении к миру неустойчив, скорее принимая его, чем отвергая. Он «учился охотнее и без напряжения... был более изобретатель... чаще являлся предводителем довольно опасного предприятия и иногда, с помощью изобретательного ума своего, умел увертываться от наказания...» – и хотя тоже, как Остап и другие бурсаки, «кипел жаждою подвига, но, вместе с нею, душа его была доступна и другим чувствам. Потребность любви вспыхнула в нем живо <...> Он тщательно скрывал... эти движения страстной юношеской души, потому что в тогдашний век было стыдно и бесчестно думать козаку о женщине и любви, не отведав битвы» (II, 292), – но, скорее всего, именно он, покидая дом, вспоминает о «чернобровой козачке» на лугу. Поиски компромисса между чувствами и долгом, между готовностью противостоять всему миру и способностью принять чужое *отделяют* его от брата и сверстников, которым неведомо такое противоречие, и приводят на особый путь.

Все начинается с обособления Андрия «где-нибудь в уединенном закоулке Киева, потопленном в вишневых садах, среди низеньких домиков, заманчиво глядевших на улицу» (II, 292–293). Справедливо замечено, что история с панночкой происходит «в стороне от общей жизни бурсаков»²²¹. И это «отклонение» свидетельствует о чувственности и мечтательности героя, его склонности к рефлексии, тоске по дому и семье, о стремлении к жизни частной. А посещение «улицы аристократов... где жили малороссийские и польские дворяне и дома были

²²⁰ Мелетинский Е. М. О литературных архетипах. С. 37, 45.

²²¹ Федоров В. В. Поэтический мир Гоголя // Гоголь: История и современность. М., 1985. С. 155.

выстроены с некоторою прихотливостию» (II, 293) может быть истолковано и как пробуждение интереса к богатству и собственности (этот мотив развивает 2-я редакция). Андрий искал возможность показать себя, действительно стать Героем и не упустил свой шанс на приключение. Из-за нанесенной возницей обиды он «с безумною смелостию» остановил «колымагу», ухватившись за колесо «мощною рукою своею», но лошади «рванули – и Андрий... шлепнулся на землю, прямо лицом в грязь», и оттуда услышал **над** собой смех, увидел красавицу-солнце и «оторопел. Он глядел на нее совсем потерявшись, рассеянно обтирая с лица своего грязь, которую еще более замазывался» (II, 293). Это поведение юного богатыря, дурака из сказки, увидевшего прекрасную дочь царя или воеводы, а грязь здесь символизирует и простое, низкое происхождение героя «от земли», сопоставимого с Антеем, и его земную силу²²².

Потрясение красотой испытывают, в основном, юные и молодые гоголевские герои – вслед за 20-летним автором, который запечатлел противоречивый «божественно-демонический» образ в письме матери от 24 июля 1829 г.: «...нет, не назову ее... она слишком высока для всякого, не только для меня. Я бы назвал ее ангелом, но это выражение низко и не к стати для нее <...> Это божество, но облеченное слегка в человеческие страсти. Лицо, которого поразительное блистание в одно мгновение печатлется в сердце; глаза, быстро пронзающие душу. Но их сияния, жгущего, проходящего сквозь всего, не вынесет ни один из человеков <...> Взглянуть на нее еще раз – вот бывало одно единственное желание, возраставшее сильнее <и> сильнее с невыразимою едкостью тоски <...> Если бы она была женщина, она бы всею силою своих очарований не могла произвести таких ужасных, невыразимых впечатлений. Это было божество, Им созданное, часть Его же Самого!» (X, 147–148). Контрастные черты этого, несомненно, художественного образа перейдут потом к изображению панночки, какой ее Андрий увидит в Дубно: «...белизна ее была пронзительна, как сверкающая одежда серафима. Гебеновые брови, тонкие, прекрасные, придавали что-то стремительное ее лицу, обдающее священным трепетом сладкой боязни в первый раз взглянувшего на нее <...> это небесное создание <...> взгляд долгий, сокрушительный», – тогда как он «казалось, исчезнул и потерялся <...> бросился к ногам ее, приник и глядел в ее могучие очи» (II, 317–318).

Ведь привлекает и поражает не сама женщина, да и не красота ее, а, по Гоголю, то Божественное, что одушевляет женщину и сияет в ее глазах – «зеркале души», та высшая гармония земного и небесного, что отражается в ее красоте. Именно это неодолимо влечет к ней, обещая герою то, чего ему недостает, на что оказалась бедна его жизнь. Именно перед этим он преклоняется. Из-за этого **идеала** пойдет он против всех и против себя тоже и жизнь – бессмысленную без этой красоты и семейного союза – отдаст не задумываясь. Однако сам Гоголь уже знает, что и красота, и ее сияние могут быть призрачными, обманчивыми, дьявольскими...

В статье «Женщина» (1831) – первой авторизованной Гоголем – юный Телеклес после беседы с Платоном признал Алкиною воплощением божественной красоты мира, жизни, самого искусства, красотой порожденного, и «в изумлении, в благоговении повергнулся... к ногам гордой красавицы...» (VIII, 147). В повести «Ночь перед Рождеством» (1832) кузнец Вакула, по его словам, «все бы стоял» перед красавицей Оксаной «и век бы не сводил с нее очей» (I, 209). В отрывке <«Фонарь умирал»> (1833) герой – бедный немецкий студент, бродивший ночью по Васильевскому острову, – застывает у одного из домов, снизу прильнув к щели в ставне, и «пожирает глазами чудесное видение <...> в ослепительно божественном платье» (III, 330–331). В повести «Вий» бурсак Хома Брут (лат. «простыня») обмирает при виде красоты панночки, ощущая трепет и робость. Так же ведут себя и герои первых петербургских повестей, создававшихся одновременно с повестями «Миргорода». Красавицу «брюнетку», случайно встреченную вечером на Невском проспекте, художник Пискарев принимает

²²² Ср.: Карпенко А. О народности Н. В. Гоголя. С. 85.

за Мадонну и благоговейно следует за ней – даже взбираясь по лестнице на последний этаж дома, где приличная дама в то время заведомо не могла жить, – а бедный чиновник Поприщин видит в дочери своего начальника и «Ее превосходительство», и «солнце, ей-Богу, солнце!» – божество, «сокрушающее» одним только взглядом и обитающее в «раю, какого и на небесах нет» (III, 196, 199–200, 554).

Однако Андрий не просто сражен красотой – несмотря на препятствия, он дерзко пробивается к своему «божеству». Зачем? – Любоваться им можно было иначе, без особых хлопот, мстить за женские насмешки – недостойно, да и не в обычае того времени, а для похищения необходимо слишком многое... Ответ будет двойственным. Вероятно, в результате магического воздействия (судя по описанию, это приворот, похищающий часть души) красавица неодолимо влечет Андрия. Кроме того, он обязан прийти, чтобы... *спасти* ее. Дело в том, что описание панночки содержит комплекс редуцированных мотивов, связанных с архетипом царевны в волшебной сказке («царицей» назовет панночку Андрий), а в дальнейшем развитии – с благородной героиней рыцарского романа (или даже Мадонной, как будет во 2-й редакции повести). Обычно герой видит ее высоко вверху: на башне, у окна или на балконе какого-то высокого здания, – где готовая к браку царевна была фактически заточена и строго охранялась, чтобы ее не похитили, причем это заточение «способствовало накоплению магических сил»²²³. Такое положение царевны обуславливалось несколькими табу. В основном ей запрещалось:

- выходить из помещения (темницы) и касаться земли,
- быть освещенной лучами солнца,
- открывать (показывать) свое лицо,
- общаться с кем бы то ни было (или только с посторонними),
- стричь волосы (поэтому они очень длинные),
- употреблять обычную пищу²²⁴.

В данной ситуации сам герой-простяк рассматривался как *избавитель*, который спасет царевну, похитив ее, – это и есть брачное испытание, соотносимое с инициацией, – чтобы жениться на ней и стать царем. При этом, правда, она сразу или чуть позднее утратит свои магические свойства.

Для католиков св. Андрей олицетворял мужское начало (по семантике имени, о которой мы уже говорили), само Рыцарство и был покровителем брака²²⁵. Такая «индивидуализация» противоречит восприятию Андрея Первозванного в православии как апостола христианства, проповедовавшего «скифам» Причерноморья, и небесного покровителя России. Однако вечером или ночью накануне Андреева дня многие девушки-христианки гадали, гадают и будут гадать о возможном суженом.

Но вернемся к повести. Андрий видит «стоявшую у окна брюнетку (редукция мотива длинных волос, как в повести “Невский проспект”. – В. Д.), прекрасную, как не знаю что (прозаизация фольклорной формулы “ни в сказке сказать, ни пером описать”. – В. Д.), черноглазую и белую, как снег, озаренный утренним румянцем солнца» (противоречивое единство черного и белого, снега, тела и света); «...смех придавал какую-то сверкающую силу ее ослепительной красоте» (мотив лика-солнца, явленного грязному профану, и осмеяния последнего), хотя при этом нарушен запрет открывать лицо постороннему, – так герой узнает про «дочь... ковенского воеводы», которую стережет «куча» дворни «в богатом убранстве» (II, 293). А простяк *обязан спасти* «царевну-невесту» и *жениться* на ней. Поэтому Андрий «через трубу камина пробрался прямо в спальню красавицы» (II, 293; обычный «воздушный» путь романтического

²²³ Протт В. Я. Исторические корни волшебной сказки. С. 137–139.

²²⁴ Там же. С. 132–136.

²²⁵ Андрей // Славянские древности: Этнолингвистич. словарь: В 5 т. М., 1995. Т. 1. С. 109.

героя – ср. «подземный» аналог: ход в крепость), неизбежно вымазавшись, на сей раз в саже, и опять замер, как бы по-женски обомлел при виде панночки.

В сказке грязь или сажа маскировали героя, делая неузнаваемым²²⁶, здесь же, наоборот, маркируют «жениха-профана». И красавица, сначала испугавшись, опознает его и потому вновь смеется («смех от души», видимо, связан с мотивом «несмеяны», которая выйдет замуж за рассмешившего ее²²⁷, но в данном случае для брачного испытания этого явно недостаточно). Более того, обнаружив, что профан «очень хорош собою», она властно берет инициативу в свои руки: «забавляется над ним», травестирует его роль, наряжая как невесту («...повесила на губы ему серьги и накинута на него кисейную прозрачную шемизетку...» – II, 294), – и тем самым подчеркивает чувственное (женское) начало, которое обособило Андрия от всех и привело к ней. Он же, «раскрывши рот и глядя неподвижно в ее ослепительные очи», слепо подчиняется, словно кукла в руках «дитяти» (II, 294), не в силах противостоять ее магическому, заволаживающему взгляду, то есть фактически не выдерживает испытания. И затем, перебираясь через забор, он, видимо, из-за происшедшего, был не слишком осторожен – и попал в руки сторожа и дворни, а после того уже не мог здесь появляться.

Поэтому, чтобы еще раз увидеть красавицу, православный бурсак идет в *костел*, где панночка «заметила его и очень приятно усмехнулась, как давнему знакомому» (явное снижение «смеха от души»); потом «он видел ее вскользь еще один раз» (т. е. безрезультатно), но вскоре, вероятно, рискнул опять пройти по той же улице и... не обнаружил дворни: воевода уехал, а «вместо прекрасной, обольстительной брюнетки, выглядывало из окон какое-то толстое лицо» (II, 294). Происшедшее показывает Андрия в двойном свете: он чувствителен и поэтому податлив чуждому воздействию, но – вместе с тем – способен ради чувства отказаться от многого, пойти «против течения». Это тоже, хотя искаженное, проявление его героической козацкой натуры, и такая двойственность отчасти может быть объяснена влиянием польской и татарской составляющей его крови. Но чтобы понять, что произошло с Андрием потом, надо проследить, как в описании проявляется *противоречивое единство*.

* * *

Начало движения героев от Дома в Степь знаменует отчетливая символика разрушения, исчезновения, смерти: «День был серый; зелень сверкала ярко; птицы щебетали как-то вразлад» (дисгармония природы); братья «ехали смутно и удерживали слезы», а «хутор их как будто ушел в землю...» (мотив погребения), «...только стояли на земле две трубы от их скромного домика» (печи с трубами остаются на пожарище); лишь «колесо от телеги», привязанное к шесту над колодезем, «одинокое торчит на небе...» (символы остановившегося движения), а затем все скрывается – и нет пути назад: «...уже равнина, которую они проехали, кажется издали горюю и все собою закрыла» (II, 289)²²⁸.

Но в этом дискретном, уходящем за спины героев пространстве есть и детали пейзажа, воспринимаемые братьями как жизнеутверждающие приметы их общего прошлого («...вершины дерев... по сучьям которых они лазили, как белки <...> луг, по которому они могли припомнить всю историю жизни, от лет, когда качались по росистой траве его, до лет, когда поджидали в нем чернобровую козачку...» – II, 289). А замечание о равнине, вдруг ставшей

²²⁶ Протт В. Я. Исторические корни волшебной сказки. С. 222.

²²⁷ По мнению исследователя, любовь начинается со смеха и «сопровождается им до самой казни Андрия...» (Федоров В. В. Поэтический мир Гоголя. С. 156.).

²²⁸ Ср. во 2-й редакции: когда, уходя из козацкого лагеря, «Андрий оглянулся, то увидел, что позади его крутою стеной, более, чем в рост человека, вознеслась покатошь...» (II, 93).

«горою», показывает, что герои движутся вниз по склону – как выяснится дальше – к Днепру²²⁹. Тем самым отчасти мотивирована возможность их последующего необыкновенно быстрого перемещения: «... полетим так, чтобы и птица не угалась...»; «... одна только быстрая молния сжимаемой травы показывала бег их» (II, 295). Здесь вынесенная вверх точка зрения повествователя явно обусловлена высотой птичьего полета или высотой неба, куда устремлена козачья душа (или «чем быстрее движение, тем выше выносятся в пространственном отношении точка зрения наблюдателя»?²³⁰), а «молния» и «небо» напоминают о Перуне. Это взгляд «поэта и ученого», который, однако же, знает «душевные движения всех людей его народа и во все времена жизни этого народа» и соединяет «частное с общим, личное с всенародным», а потому представляет и свое видение, «и голос народа, душу народа, ту, что жива в каждом...»²³¹.

Например, в народном творчестве полет на коне-помощнике, который ассоциируется с птицей, «отражает... переправу в царство мертвых»²³². Подобное движение в повести нельзя истолковать однозначно. Ведь козаки возвращаются в естественный мир, где «сердца их встрепенулись, как птицы» (или – в финале повести – спасаются: «... подняли свои нагайки, свистнули, и татарские их кони, отделившись от земли, распластались в воздухе, как змеи, и перелетели через пропасть». – II, 355), но при этом всадники «пропали в траве... и черных шапок нельзя было видеть...» (II, 295). И кони их демоничны, недаром Бульба называет своего коня Чёртом (по одному из украинских поверий, лошадь – это превращенный дьявол²³³).

Вместе с тем обнаруживается и другой мифологический аспект пути. Это архетипическое противопоставление севера Украины, где находились герои, «благодатному Югу», куда они направляются, – противопоставление, уже запечатленное в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» как антитеза демонически «холодного чиновного Петербурга» и «патриархальной, сказочной Малороссии»²³⁴. В данном случае антитеза усугубляется такими определяющими для «северного» пространства чертами, как «бледность», дисгармония, разрушение, стагнация. Выявляется и скрытый в предшествующем тексте доминантный для Севера признак «холодов»: из-за этого, видно, Бульба и «любил укрыться потеплее... дома», ночуя весной во дворе под «баранным тулупом» (II, 285–286).

По мере движения героев на юг умножаются и усиливаются его благодатные признаки: гармония, изобилие, даже избыток (тепла, света, цвета, звука), цветение, плодоношение, – и все это отражено в изображении, соответствующем целостности и эстетичности естественного пространства. Так, для автора нет ничего «прекраснее и лучше», чем «девственная пустыня» Степи, которая подобна «океану» из множества «диких растений», «миллионов разных цветов» (II, 295). Ее просторы оказываются пронизаны музыкой и светом не только днем («Вся музыка, наполнявшая день, утихала и сменялась другою <...> все это звучно раздавалось среди ночи... и доходило до слуха гармоническим»: на козаков «прямо глядели ночные звезды», которые как бы отражались в степи, и она казалась «усеянную блестящими искрами светящихся червей»²³⁵; «Иногда ночное небо в разных местах освещалось дальним заревом... и тем-

²²⁹ Пространство этого типа и соответствующая ему скорость передвижения представлены в финале повести: «Крепость была на возвышенном месте и оканчивалась к реке... страшною, почти наклоненною стремниною... Почти на двадцать сажен вниз шумел Днестр <...> Козаки... бросились бежать во всю прыть <...> только один миг ока остановились, подняли свои нагайки, свистнули, и татарские их кони, отделившись от земли, распластались в воздухе, как змеи, и перелетели через пропасть» (II, 353, 354–355).

²³⁰ Лотман Ю. М. Художественное пространство в прозе Гоголя // Ю. М. Лотман. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь: Книга для учителя. М., 1988. С. 277–278.

²³¹ Гукровский Г. А. Реализм Гоголя. М.; Л., 1959. С. 226–227. Такая позиция автора была характерна именно для *романтизма*, хотя ученый упомянул об этом, как о чем-то незначительном.

²³² Пропт В. Я. Исторические корни волшебной сказки. С. 293.

²³³ Булашев Г. О. Цит. соч. С. 401.

²³⁴ Мелетинский Е. М. О литературных архетипах. С. 81.

²³⁵ В представлении украинцев звезды на небесах всегда были связаны с миром людей: сколько душ на Земле – столько

ная вереница лебедей, летевших на север, вдруг освещалась серебряно-розовым светом...» – II, 296–297). При этом целостность и естественность изображаемого также обуславливаются принципом противоречивого единства, когда описано происходящее днем, вечером и ночью на земле, в небе и на воде (в «озерах»), а стихии уподоблены друг другу: «Из травы подымалась... чайка и роскошно купалась в синих волнах воздуха»; «...свежий... как морские волны, ветерок едва колыхался по верхушкам травы...» (II, 296). Степь отзывается на каждое движение героев, сама вызывает эти движения – и герои оказываются сродни птицам, чей «полет... подчеркивает безмерность окружающего пространства»²³⁶. Таким образом, козаки «соприродны» Степи, Морю и Небу или, как пишут некоторые исследователи, «изофункциональны» пространству трех стихий.

Причем одновременно в том же пространстве и даже еще более «изофункциональным» оказывается скачущий татарин с «бесовскими» и животными чертами («Маленькая головка с усами... понюхала воздух, как гончая собака, и, как серна, пропала...»), и этого «беса», по опыту Бульбы, «и не пробуйте; вовеки не поймаете...» (II, 297). Реалистически объяснить эти сравнения может книга Боплана, где сказано, что крымские татары «весьма храбры и проворны на конях, хотя и плохо сидят на оных... конный татарин похож на обезьяну, сидящую на гончей собаке»; воины берут в поход по два коня, и затем, при необходимости, «несясь во весь опор, они перескакивают с усталого коня на заводного и легко избегают преследования неприятелей», а кони их очень выносливы и могут «проскакать без отдыха 20 или 30 миль»²³⁷.

Для читателя той эпохи степи – «основная природная черта» Малороссии, ее главная особенность: это «бесконечное пространство зелени, произведенной рукою природы украинской для украинских табунов... необозримые луга, где, кажется, никогда не оставляла следов нога человеческая»²³⁸. Для украинца же и тогда, и сейчас, по словам Ю. Я. Барабаша, «степь – один из архетипов национального сознания, важнейший компонент национальной модели универсума, с парадигмой степи связаны такие былинные представления украинца... как простор и воля. Одновременно степи постоянно трансформируются в контексте исторических судеб нации: это поле битвы с врагами...»²³⁹.

Поэтически изобразить украинскую степь Гоголю советовал Пушкин. По воспоминаниям современников, чиновник Шаржинский «очень живо описывал в разговоре степи. Пушкин дал случай Гоголю послушать и внушил ему вставить в Бульбу описание степи»²⁴⁰. Гоголь писал о С. Д. Шаржинском, что тот «охотник страшный до степей и Крыма...» (X, 332). К этим словам Кулиш дал примечание: «Из его рассказов Гоголь заимствовал много красок для своего “Тараса Бульбы”, например: степные пожары и лебеди, летящие в зареве по темному ночному небу, как красные платки»²⁴¹.

При этом, видимо, учитывалось и описание степей в романтической поэзии того времени (стихотворения А. Мицкевича «Аккерманские степи» 1826 г., Н. Маркевича «Степ» 1830 г. и др.)²⁴². Кроме того, описание Гоголя напоминает обрисовку прерий в романе Ф. Купера «Американские степи» («Прерия», 1827; рус. пер.: 1829), а стихийно-руссоистские воззрения,

«свечей» звезд Бог зажигает на небе. Это либо «грешные души», поставленные Господом отбывать грехи свои на небе, либо, наоборот, души праведников. Млечный путь считался «дорогою из Москвы в Иерусалим» или «дорогою Божией Матери в Иерусалим», «Божией дорогою, по которой ходит Сам Бог, а также ездит на колеснице... св. Илья-пророк»; «дорогою, проведенною по небу и служащею для указания птицам пути» туда, «куда они улетают на зиму»; «дорогою... умерших людей на небо» (Булашев Г. О. Цит. соч. С. 303–304, 305). Но чаще всего Млечный путь именовался в народе Чумацким шляхом.

²³⁶ Гуминский В. М. «Тарас Бульба» в «Миргороде» и «Арабесках» // Гоголь: История и современность. С. 249–250.

²³⁷ Описание Украины. С. 43–44.

²³⁸ Украинские мелодии. Соч. Ник. Маркевича. С. 123.

²³⁹ Барабаш Ю. Я. Почва и судьба. С. 52.

²⁴⁰ Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартевым в 1851–1860 годах. М., 1925. С. 45.

²⁴¹ Кулиш П. А. Записки о жизни Гоголя. С. 145.

²⁴² См. об этом: Мацатура В. И. Украина в русской литературе первой пол. XIX в. С. 235.

природное вольнолюбие главных героев этого и следовавших за ним романов Купера «Поселенцы» (1823; рус. пер.: 1832), «Последний из могикан» (1826; рус. пер.: 1833) перекликаются со взглядами Бульбы²⁴³. Изображая козаков в степи, Гоголь, видно, придерживался описания отрядов Самуся и Палея в малороссийских летописях XVII в., которое цитировал Д. Н. Бантыш-Каменский: «Хотя на широких и пустых степях не имелось ни единой стежки, ни следу, как на море, однако помянутые ватаги, добре знаючи проходы, аки бы по известных дорогах з великим опасением, дабы не были где от татар исследованы, ездили; не имея же себе чрез один и другой месяц огня, единожды в сутки весьма скудной пищи толокна и сухарей толченых кушали, и коням ржати не допуская, будто дикие звери по тернам и камышам крылись и с великим обережением пути своя разнo разъезжались тернами и паки сходились; познавали же на тех степях дикий путь свой в день по солнцу и краях высоких земных и по могилах; ночью же по звездах и ветрах и речках; и тако татар высмотревши, нечаянно нападали и малым людом великие их купы разбивали» (*ИМП.* Ч. III. С. 19–20).

В природном «контексте Степи» символическое значение обретает и Бульба с двумя сыновьями, и поездка их в «школу» христианского братства Сечи в пространстве Причерноморья, где, по православному преданию, проповедовал «скифам» апостол Андрей Первозванный, и численность всего отряда – **13** человек. Евангельские аллюзии придают героям некое сходство с апостолами, провозвестниками и ревнителями Веры, среди которых изменник, Иуда, – и позволяют усомниться в прочности семейного союза...

²⁴³ *Вайсконф М.* Сюжет Гоголя. С. 442.

§ 2. Изображение Запорожской Сечи у Гоголя и в русской литературе его времени

Безбрежная Степь как бы продолжается в просторе Днепра, «где он, дотоле спертый порогами, брал, наконец, свое и шумел, как море, разлившись по воле <...> и волны его стлались по самой земле, не встречая ни утесов, ни возвышений» (II, 298). А расстояние между Степью и островом, «где была тогда Сеча, так часто переменявшая свое жилище» (ибо, в принципе, это точка сопряжения *простора и воли*), показано как свободное и протяженное пространство, которое козаки преодолевают, спешившись: «...сошли с коней своих, взошли на паром и чрез три часа плавания были уже у берегов острова Хортицы...» (II, 298). И такое, непонятное современным читателям, уподобление «степного / речного» – «морскому» здесь можно принять за гиперболу. Но смысл его, видимо, более широкий, так как в дальнейшем повествовании Сечь уже оказывается расположена... в «устье Днепра», куда приплыли – тем же летом! – после малоазиатского набега козаки и где, «неподвижный, сидел... на берегу» Тарас, а «перед ним сверкало и расстилалось Черное море...» (II, 334). – Ср.: в повести В. Нарезного «Запорожец» козацкая столица была там же – «недалеко от берегов Днепра, где вливаются воды его в Черное море»²⁴⁴, поэтому сами запорожцы сразу назывались «черноморцами». И дело здесь не столько в действительном расположении Сечи или в его изменении, сколько в том, что запорожцы из Старой Сечи, разрушенной в 1709 г., и Новой Сечи 1734–1775 гг. таким образом сближаются с Черноморским козацким войском, которое князь Г. А. Потемкин образовал из бывших запорожцев в 1787 г., – то есть изображение Сечи сразу же включает и *предел ее развития*. Здесь Нарезный фактически приравнивает «Черноморскую Сечь» к Задунайской, где жили запорожцы, бежавшие после разорения Новой Сечи в Турцию, и отчасти сближает защитников России кубанских козаков-«черноморцев» с явными разбойниками. Причем наряду с этим взглядом существовал и более трезвый: что кубанские козаки своей верной службой и подвигами вполне искупили прежнюю вину Сечи. Так, на заре XIX в. сентименталист В. В. Измайлов, вряд ли расхопившийся с официальной точкой зрения, объяснял «происхождение Черноморских козаков» тем, что «первоначальное общество их, известное под именем Сечи Запорожской, лишенное своего владычества от измены Мазепы и наконец уничтоженное Екатериною II, воскресло в то же правление под названием верного Черноморского войска»²⁴⁵.

Бытовали и другие мнения о местоположении Сечи. Так, военный инженер Боплан (поверив свидетельствам очевидцев) даже не подозревал о возможности расположения Сечи на Хортице: «...остров Хортицы очень высок, почти со всех сторон окружен утесами, следовательно, без удобных пристаней <...> Он не подвержен наводнениям и покрыт дубовым лесом», – но переводчик счел нужным исправить «ошибку» и пояснил: «...там в начале XVI столетия запорожцы имели Сечь свою, оставили ее, в 1620 году возобновили и вскоре вновь покинули»²⁴⁶ (то есть Боплан ее уже не застал). По словам Карамзина, Сеча была «земляной крепостью ниже Днепровских порогов», которая «служила сперва сборным местом, а после сделалась жилищем холостых Козаков, не имевших никакого промысла, кроме войны и грабежа» (*ИГР*. Т. V. С. 215–216). «История Малой России» расположения лагеря тоже не уточняла: «Сечь, главное укрепленное место, в котором обитали запорожские козаки, было застроено, без всякого порядка, деревянными избами и мазанками. Земляная насыпь, с расставленными на оной в

²⁴⁴ Нарезный В. Запорожец // Новые повести Василия Нарезного. СПб., 1824. Ч. 3. С. 138.

²⁴⁵ Путешествие в полуденную Россию. В письмах, изданных Владимиром Измайловым: Ч. 1–4. М., 1802. Ч. 4. С. 12 (далее: Путешествие в полуденную Россию).

²⁴⁶ Описание Украины. С. 24–25, 150–151.

некоторых местах пушками, окружала сие жилище их, разделенное на 38 куреней» (*ИМП.* Ч. 2. С. 61). В романе «Димитрий Самозванец» (1830) Булгарин, по различным источникам, говорил о виде и местоположении Сечи следующим образом: ниже «13 порогов» Днепра «речка Бузулук... образует два острова. Обширное пространство выше меньшего острова обнесено было вокруг шанцами, батареями и палисадами, которые прикрывались деревьями и кустарниками. Внутри укрепления построены были мазанки, небольшие домики из тростника, обмазанные внутри и снаружи глиною, с камышовыми крышами; от двадцати до пятидесяти таких хижин, вокруг большого дома, вмещали в себе особую дружину и назывались куренем, под начальством Куренного атамана. Эти курени, числом до тридцати, расположены были отдельно, но без всякого порядка. Посреди Сечи возвышалась небольшая церковь Покрова Пресвятой Богородицы, построенная крестом, сажени две в высоту, с шестью главами. Напротиву четырех сторон церкви стояли открытые колокольни, то есть четыре перекладины на четырех деревянных столбах <...> Вокруг церкви была площадь, а напротив большой длинный дом, в виде сарая. Это было жилище Кошевого атамана и хранилище войсковых сокровищ. Перед куренями находились... кухни: несколько камней, между которыми пылал огонь»²⁴⁷.

В сборнике украинских народных песен (1834) М. Максимович вновь привел сведения о Сечи, которые можно считать традиционными: «Сечью называлось укрепление (подобное острогам

²⁴⁷ Димитрий Самозванец. С. 227.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.